

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

**БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ
ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
В ИСТОРИЧЕСКОМ
И АРЕАЛЬНОМ ПЛАНЕ**

**ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
ВТОРОЙ БАЛТО-СЛАВЯНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ

БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ И АРЕАЛЬНОМ ПЛАНЕ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
ВТОРОЙ БАЛТО-СЛАВЯНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Москва, 29 ноября – 2 декабря 1983 г.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1983

Вторая балто-славянская конференция посвящена общей проблематике балтийского и славянского языкового, этнического и культурного взаимодействия на протяжении ряда эпох – от периода интенсивного влияния друг на друга близкородственных "древнеевропейских" – западноиндоевропейских (в частности, прабалтийских) диалектов, из которых позднее развиваются балтийские и славянские (и территориально к ним близкие палеобалканские) языки, и далее – ко времени функционирования этих языков в исторических областях балто-славянского языкового и этнического пограничья. В этом аспекте особое внимание привлекают вновь вводимые в круг исследований исторические источники и архивные материалы. В частности, они дают возможность изучить этноязыковую сторону ранней ситуации в Великом княжестве Литовском, где различался ряд одновременно функционировавших языков, имевших определенные социальные и культурные сферы использования. Получаемые на этом материале выводы существенны как для исследования этногенеза отдельных балтийских и славянских народов, так и для общей теории контактов родственных языков и проблем образования языковых союзов.

Редакционная коллегия:
К.К.Богатырев, Вяч.Вс.Иванов, Л.Г.Невская,
Т.М.Судник, В.Н.Топоров

ЛИМНОНИМЫ СЛАВЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Л.Балоде (Рига)

1. Среди лимнонимов (названий озер) Латвийской ССР (их насчитывается около 5500 единиц) можно выделить названия балтийского, германского, финно-угорского, славянского происхождения (последние составляют около 4,5% всех лимнонимов Латвийской ССР).

2. Самую многочисленную группу лимнонимов славянского происхождения (около 70%) составляют названия озер, образованные от славянских апеллятивов. С точки зрения топонимической деривации здесь можно выделить тип первичных гидронимов (напр., *Tartaks*, ср. польск. *tartak*) и несколько групп вторичных гидронимов: аффиксальные (напр., *Besdonka*) — в этой подгруппе чаще всего используются форманты *-k-*, *-ok-*, *-auk-/ -avk-*; составные, преимущественно генитивные гидронимы (напр. *Gļīnu ezers*); квалификационные гидронимы типа *Beloje ezers* (о структурно-словообразовательной классификации см. *Vanagas* 1970, 20-27). Большинство этих гидронимов названо по конкретным свойствам объекта.

Только лимнонимы, образованные от славянских апеллятивов, сравнительно достоверно могут свидетельствовать об участии славянского этноса в процессе формирования названий озер.

3. Зарегистрировано несколько лимнонимов, образованных от диалектизмов славянского происхождения (напр., *Kazuci ezers*, ср. лтш. *kazugī* < рус. *козырь*, см. *ME* II 184). Хотя эти лимнонимы связаны со славянской основой, их нельзя считать славянскими гидронимами в точном смысле слова, так как в их образовании участвуют балтийские элементы (об этом см. *Vanagas* 1981, 125).

4. Около 16% всех лимнонимов славянского происхождения составляют названия озер, образованные от антропонимов (напр., *Belova ezers*). Эта группа лимнонимов, естественно, не входит в древнейший пласт гидронимов.

5. Еще одна группа лимнонимов, имеющая славянскую основу, — гидронимы, образованные от ойконимов или других топонимов славянского происхождения (напр., *Bratišku ezers*, ср. село *Bratiški*). Хотя связь этих лимнонимов со славянским бесспорна, их включение в число гидронимов славянского происхождения является условным, так как они образованы от других топонимов-посредников между славянскими лексемами и латышскими лимнонимами (ср. *Vanagas* 1981, 125-126).

6. В отдельных случаях встречаются лимнонимы-гибриды: латышский

суффикс прибавляется к основе славянского происхождения (или наоборот), напр., Gribipš, ср. рус. гриб (Jansons 1962, 203, но ср. лтш. gribēt 'хотеть, делать', хотя это слово семантически не характерно для мотивирования гидронима).

7. Характерной чертой многих иноязычных топонимов Латвии является параллельное употребление исходного и калькированного названия (напр., Čertaks // Čertoka ezers // Velna ezers; Glubokojes ezers // Dzīlais ezers). Такие кальки составляют $\frac{1}{5}$ всех лимнонимов, образованных от славянских апеллятивов, причем в ряде случаев калькой является славянское название, а первичным – латышское.

8. Все без исключения анализируемые здесь лимнонимы встречаются в восточной части Латвийской ССР – в Латгалии. Такое распространение объясняется географическим положением этого региона и своеобразием его этнической истории.

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛАСНЫХ ГЛУБОКИХ ГОВОРОВ ЛАТГАЛИИ

А.Б.Брейдак (Даугавпилс)

За отправную точку развития фонематической системы гласных глубоких говоров Латгалии мы принимаем следующую восточнобалтийскую систему гласных:

ū	ī	u	i
ō	ē	o	e
ō	ē	o	e

После монофтонгизации дифтонгических сочетаний *on > *ō и *en > *ē и дифтонгоидизации гласных *ō > *ū^o (или *ou ?) и *ē > *ī^e (или *ei ?) в древнелатгальском восточнобалтийская система гласных была преобразована в следующую систему:

ū	ī	u	i
ū ^o (или ou ?)	ī ^e (или ei ?)		
ō	ē	o	e

После позиционной перегласовки o > a и первичной позиционной перегласовки e > a и ē > ā древнелатгальская система гласных приняла следующий вид:

ū	ī	u	i
ū ^o (или ou ?)	ī ^e (или ei ?)		
ō	ē	o	e
ā		a	

После дифтонгизации долгих гласных ū, ī и монофтонгизации дифтонгоидов *ū^o (или *ou ?), *ī^e (или *ei ?) в конце XV в. или в начале XVI в. древнелатгальская система гласных была преобразована в следующую общелатгальскую систему:

ū	ī	u	i
ō	ē	o	e
ā		a	

Начиная с XVI в., в связи с вторичной перегласовкой гласных е, ё и последующими перегласовками ее рефлексов, а также дифтонгизацией долгого гласного ё, единая общелатгальская система гласных распалась на несколько вариантов. В глубоких говорах Латгалии первоначально образовались 4 варианта фонематической системы гласных, которые впоследствии развились в 5 вариантов. Причиной такого расщепления были не только внутренние тенденции развития языка, но и влияние селонских говоров (в западной Латгалии) и среднелатгальских говоров (в северо-восточной Видземе и северной Латгалии), а также славянских языков (в северной, восточной и южной Латгалии).

К ИЗУЧЕНИЮ КУРШСКОЙ ГИДРОНИМИИ В СВЕТЕ БАЛТО-СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

О.Буп (Рига)

Взаимосвязанность изучения балтийской гидронимии и исследования разных аспектов балто-славянских языковых отношений не требует специальных доказательств (см. об этом: Ванагас 1983). Виды такой взаимосвязанности, выделенные А.Ванагасом, применимы и к анализу гидронимии отдельных балтийских языков (в частности, куршского), что не исключает, естественно, некоторой их спецификации.

1. Специфика в первую очередь предопределяется местом куршского языка среди прочих балтийских (об этом, как известно, нет единого мнения). Наиболее вероятной (хотя и не окончательно доказанной) нам представляется гипотеза о первоначально западнобалтийском характере этой идиомы с последующим приближением к восточнобалтийскому типу (Mažiulis 1981 и др.), вплоть до полной "восточнобалтийзации" в нашем тысячелетии (Vlesse 1929 и др.). Ввиду такого исторического развития не всегда целесообразно не дифференцированное употребление понятия "куршский язык"; следует различать древнекуршский (вероятно, западнобалтийский) и (ново)куршский (по-видимому, восточнобалтийский) языки.

2. Многие куршские названия вод восходят к древнекуршскому языку (или через него к еще более давним состояниям языка). Так как западнобалтийские языки связаны со славянскими рядом эксклозивных (не затрагивающих восточнобалтийские) изоглосс (в частности, изолекс), то вполне вероятно наличие курско-пруско(ятвяжско)-славянских гидронимических параллелей. Так, пр. *Dulgen* оз., лит. (ятв.?) *Dūlgas* оз. (в Лейпалингис) Я.Отрембским (позднее О.Н.Трубачевым, В.Н.Топоровым, У.Пмалыштигом, с оговоркой А.Ванагасом) сопоставляется со славянским *dǫlgz/dyǫgz* 'длинный'; Б.Савукина полагает, что связь со славянским прилагательным исключается из-за ареала, охватывающего и восточнобалтийские языки (ср. лтш. *Dūlgis* - болото в Занте), и возводит эти гидронимы к общепалтийскому корню *dul-*. Такая этимология тоже возможна, однако ареальный аргумент следует снять, так как Занте - куршская тер-

ритория, и поэтому все известные балтийские гидронимы с *Dulg-* могут отражать западнобалтийско-славянскую изолексу.

3. С историей балто-славянских языковых отношений связан вопрос о происхождении "центрального" курского потамонима *Venta*. В настоящее время почти общепринято мнение о его балтийском характере, однако появилась и гипотеза о славянском происхождении этого названия (*Moszyński* 1957, Трубачев 1982). Фонетико-морфологические критерии не исключают возможности двойного толкования этноязыковой принадлежности этого имени, поэтому в качестве дополнительного аргумента целесообразно использовать характер гидронимического контекста. Нами проанализированы названия около 30 притоков Венты. Из них 12 восточнобалтийских, 7, вероятно, западнобалтийских, около 10 общеполонийских, 1 балтийского или финно-угорского происхождения. Для некоторых из них можно указать древнеевропейские параллели (*Abava*), а также славянские параллели, часть которых, в свою очередь, может быть балтизмами. Конечно, ряд рассмотренных гидронимов не имеет окончательной этимологии, поэтому не следует преувеличивать значения вышеприведенных цифр, однако полная доминанция балтийского элемента в данном гидронимическом ландшафте не вызывает сомнений. Следовательно, максимально вероятным представляется балтийское происхождение и гидронима *Venta* (и *Vjta*) или же балтийское посредство при унаследовании древнеевропейского гидронима.

ОБ ОДНОЙ ФОНЕТИЧЕСКОЙ АНОМАЛИИ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

И.Е.Варбот (Москва)

1. Отмечено значительное количество случаев аномального отражения праслав. сочетаний типа *tart* в исконной славянской лексике — *turt*, *turt*; реже представлено *tirt* как рефлекс *tart*. Нередка вариантность регулярных и нерегулярных рефлексов, ср. рус. *прикурнуть* — *прикурнуть*.

2. Шахматов предложил общее объяснение всех вариантов отражения праслав. *tart*, *tirt* как следствия межслоговой ассимиляции (А.А.Шахматов. К истории звуков русского языка. — Сб. ОРЯС, т. 7, кн.2, 1902, с.336—339). Относительно конкретных лексем исследователи предполагают контаминацию или преобразование вследствие народной этимологии (ср. рус. *курносый* — *кур* 'петух'), специфическое развитие слов звукоподражательного происхождения (ср. польск. стар. *barczeć*, рус. диал. *борчать* — польск. *burczeć*, рус. *бурчать*) или экспрессивно окрашенных слов (ср. болг. *объркам* 'совать', 'мешать', словен. *bŕkati* 'копаться', рус. диал. *боркать* 'стучать, колотить' — словен. *bŕkati se* 'волноваться', рус. *буркать* 'бросать').

Для многих случаев обосновано толкование славянских лексем как балтизмов (ср. польск. диал. *kurŕ*, *kurpiel*, блр. *курпы*, рус. диал. *курпы* — др.-пруск. *kurpe*, лит. *kùrpė*; польск. *mirgać się* 'мелькать' — лит. *mirgėti*; блр. *дурбаць* 'долбить' — лит. *duŕbinti*).

3. Множественность источников рассматриваемой аномалии весьма веро-

ятна, но необходимо их уточнение. Появление *tyrt*, *tirt* на месте *tart*, *tȕrt* в ряде славянских глаголов может быть следствием аналогичных процессов внутри славянской глагольной системы, где ступень продления редукции была закономерной в имперфективах на *-ati* и во многих глаголах на *-nati*. Ср. рус. олон. тирнуть 'сунуть' (при торкнуть) - тыкать, укр. втирка́тися 'вмешиваться'; рус. псков., твер. тирнуть 'ударить', смол. тирну́ться 'потереться, потолкаться' - =тивать.

4. Обращает на себя внимание значительное количество славянских глагольных гнезд, где рефлекс *turt* (представленный наряду с регулярными рефлексами) имеет точное материальное соответствие в балтийских языках. К числу отмеченных в литературе случаев (см. Ю.А.Лауцште. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982) можно присоединить следующие: рус. диал. пурхнуть, укр. пурхати, пурхнути 'вспорхнуть' (при рус. порхать, чеш. *prchati* 'брызгать') - лит. *puĩkĩti* 'моросить'; польск. диал. *rozsturchać* 'растрепанный' (при польск. диал. *obstarchać* 'обтрепать', рус. обтерхать) - лит. *tuĩĩti* 'мутить, грязнить'; кащуб.-словин. *pũrĩĩć* 'scheissen' (при рус. портить, польск. *parcieć* 'прорастать') - лит. *pũrtyti* 'трясти, вытряхивать', *pũrtytis* 'отряхиваться', 'топорщиться'; чеш. морав. *dũrdit* 'сосать грудь', словц. *dũrdit* 'ea' 'элиться' (при польск. *dũrdać* 'бежать, подбегать') - лит. (su) *dũrdyti* 'уколоть', 'дернуться', 'грызть, беспокоить'. Представляется возможным заимствование славянских лексем с *turt* из балтийских языков или развитие славянских форм под влиянием родственных балтийских в условиях языковых контактов.

Такое же происхождение вероятно для некоторых славянских имен с *turt*: словц. диал. *kurti* 'захиревший', укр. диал. кўртий 'короткий', с.-хорв. *kũrtast* 'купный, обрезанный' (при слав. **kortakъ*) - ср. лит. *kuĩtas* 'глухой' (с первичным значением **обрезанный* - ср. родственные др.-инд. *karna-* 'с обрезанными, поврежденными ушами', слав. **karnъ*); рус. диал. курба́тый 'низкорослый', 'неровный' (при слав. **korbъ*, **korbiti*, чеш. *krabiti se* 'делаться неровным', рус. скоробый 'сморщенный, корявый') - ср. лит. *kuĩbas* 'корзина', лтш. *kurbulis* 'клетка для пчелиной матки'.

К РЕКОНСТРУКЦИИ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНИХ БАЛТОВ (О НОВОМ ПОДХОДЕ К ОПИСАНИЮ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ)

Н.Велюс (Вильнюс)

I. Обсуждаемый метод описания традиционной культуры сложился на основе опыта исследования балтийского материала по универсальным семантическим оппозициям, используемым в трудах К.Леви-Стросса, Вяч. Вс.Иванова, В.Н.Топорова и др.

II. Суть этого метода - в анализе взаимосвязей оппозиций и тем самым в установлении той общей системы, часть которой они составляют, во-первых; в выявлении географической ориентации оппозиций, во-вторых.

Роль универсальных оппозиций (низкий-высокий, вода-огонь, ночь-день, луна-солнце, старый-молодой, три-один и т.д.) прослеживается нами во всех областях традиционной культуры (погребальные обряды, надгробия, топография селений, архитектура, конструкция и размеры мебели, народное искусство, фольклор, мифология, календарные обряды, топонимия, антропонимия и др.).

Оппозиции выявляются не в пределах одного явления, но между вариантами одного и того же явления, распределенными по различным географическим ареалам.

Устанавливаются не только полюсы отдельных оппозиций, но и промежуточное их звено (трехчленность оппозиций).

Большая часть оппозиций, обнаруживающих характерную географическую ориентацию, носит реликтовый характер и выступает обычно в неявном виде; для их выявления потребовалось сопоставление многочисленных фактов с применением количественного анализа (статистика, процентные отношения).

Ш. Исследование в этом плане традиционной культуры центральных (по оси север-юг) балтов в направлении с запада на восток привело к следующим выводам: левые полюсы большинства оппозиций преобладают на западе (Приморская низменность), правые — на востоке (Балтийская гряда), промежуточные же звенья — в среднем ареале (Средне-Литовская низменность и примыкающая к ней Жемайтская возвышенность).

Распределение оппозиций в культуре балтов по направлению запад-восток соответствует вертикальным сферам распространенной у многих народов и племен модели мира ("мирового дерева").

В традиционной культуре балтов засвидетельствованы устойчивые связи между странами света и вертикальными сферами модели мира, отмечаемые в мифологии народов Европы, Ближнего и Дальнего Востока.

IV. Изучение других культур в указанном аспекте позволило бы определить своеобразие культуры балтов, с одной стороны, и то, в какой мере она отражает архаические тенденции развития индоевропейской (и не только) культуры.

Истоки географической ориентации культуры восходят, как можно предположить, к древнейшей дуалистической системе; трехчленная в конечном счете модель сформировалась, вероятно, под влиянием трехчленной социальной структуры и идеологии индоевропейцев.

НЕКОТОРЫЕ АРЕАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОНЕТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ БАЛТИЗМОВ

В.Р. Вячорка (Минск)

Такие общепризнанные белорусские балтизмы, как снiран/свiран; дзiрвaн/дзeрвaн, дзярвaн; асвiр, свiр/асвiр, свiр (литовск. sviřnas, dirvėnas, svirtis), имеют фонетические варианты, отличающиеся сочетаниями ir и er.

Лексема свіран распространена почти на всей территории Белоруссии. В то же время ее вариант сверан локализуется в регионе, очерченном линией р. Нарев-Слоним-Ивацевичи-Клецк-Вороново (кроме Гродненского р-на; см. Дыал. атл. бел. мовы). У лексем асвёр, свер, свяхнін, свернін, перасвёр/асвёр, свір, свёрнін, свірсня, перасвёр формы с er встречаются северо-западнее линии р. Вилия-Вилейка-Борисов-Березино-Витебск. Лексема дзівран известна почти на всей территории Белоруссии, но преобладает в треугольнике Вороново-Марьяна Горка-Полоцк, причем только в этом треугольнике фиксируются варианты дзерван, дзярван (в отдельных говорах, возможно, 'a < i'). Менее распространенные белорусские балтизмы - вірціна, шпэрка, дзірса и др. также имеют варианты с ir и er, а их соответствия в литовском литературном языке - virtinė, spirgas, dīrsė - содержат интерконсонантное ir (во всех случаях рассматриваются конкретные литовские слова, а не варианты их корней). Балтизмы с различной огласовкой иногда локализуются в разных зонах, ср.: шпэрка 'тонкое сало' - кобринск. (но здесь регулярный для говора переход e < i); шпёрка 'кусочек хлеба' - витебск.

Формы балтизмов с er встречаются почти исключительно северо-западнее линии р. Нарев-Слоним-Березино-Витебск, где они сосуществуют с ir-вариантами; на юго-востоке от этой линии отмечены балтизмы с oir (в литовск. литер. яз. ему соответствует ir). Переход ir > er на значительной территории северо-запада Белоруссии особенностями белорусских диалектов не обусловлен. Переход i > e в разных позициях - регулярное явление для части говоров Жемайтии; мазовецкие балтизмы на месте литовск. ir также часто имеют er. Таким образом, можно говорить о своеобразном ареале, где современному литовскому ir соответствует er в балтизмах. Наличие в балтских заимствованиях ir объединяет юго-восточную часть Белоруссии с Аукштайтией.

Балтизмам бундзечка, мункі, крумкаць, ўнга, вувалак (с un или u) в литовском литературном языке соответствуют слова с an: bandà, mánka, kraũkti, angà, ąžuoliukas. Такие балтизмы встречаются севернее линии Вороново-Минск. На юге от нее преобладают заимствования с an, on /a, ср.: бонда, ганта, васілкi и т.д. Территорию Литвы делит изофона an:un по линии Шета-р. Нярис-Девянишки (недалеко от Воронова). Эта изофона естественно переходит в линию раздела территории Белоруссии по признаку наличия/отсутствия балтизмов с un/u < an.

Некоторые белорусские лексемы, признанные балтизмами - драбёст, дзгiлiе, гегнуць, гёга, юнда, раўт'ац - в литовском литературном языке имеют соответствия с согласными другого ряда: grebėstas, gigėlis, gedėti, degà, jungti, *raud-. Такие балтизмы чаще встречаются на западе Белоруссии (от линии Лида-Пинск) и на Белосточчине. Мена g, k $\geq$ t; d свойственна южноаукштайтским литовским говорам, а также, видимо, прусскому и ятвяжскому языкам. Белорусские балтизмы с этой чертой встречаются и в западном Полесье, где они не могли быть заимствованы из литовских диалектов.

Изофоны белорусских балтизмов по-разному делят территорию Белоруссии, объединяя ее части с частями современного балтийского ареала. Балтизмы, видимо, заимствованы в белорусские говоры из разных балтских диалектов и в разных эпохи.

СЛАВЯНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЛИТОВСКОМ ГОВОРЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ г.СЕЙНЫ М.Гасюк (Познань)

Территория говора простирается от восточных до северозападных окрестностей г.Сейны вдоль государственной границы ПНР с Литовской ССР. Она охватывает свыше десяти населенных пунктов, жители которых разговаривают на литовском, принадлежащем к кпо-аукштайтскому диалекту или диалекту западных дзуков.

Характерной чертой современного состояния говора является устранение лексических славизмов и замена их словами литовского литературного языка. Небольшое количество новых заимствованных слов, употребляемых в общественной и административной сфере и других отраслях жизни, происходит из польского языка.

Унаследованные заимствования подвергались влиянию белорусского, польского и русского языков. Это касается имен нарицательных и собственных (местных и личных).

Кроме лексических, самых распространенных, имеются также фонетические и синтаксические заимствования.

К ЭТИМОЛОГИИ ЛТШ. KUMĖJŠ

Л.Г.Герпенберг (Ленинград)

1. Примечательно пересечение значений следующих двух рядов родственных слов:

.....↑		
	ст.-русск. <u>КОМОНЬ</u>	
'жеребенок'	лтш. kumėjš	перс. kurra
'сын'	скр. kumārāṣ	курд. kurr
	перс.-ар. kamar	хот.-сак. kūra
	'glandes p.'	'm. vir.'
		др.-инд. kūlāṣ
		'стадо, семья ...'
		↓

2. Анализ текстов позволяет увеличить число совпадающих значений в рассматриваемых рядах.

3. Близость в плане содержания может быть истолкована как отражение исходной близости в плане выражения, при этом следует исходить из гетероклитической модели *kumēl : kumnos, предполагая, в частности,

развитие *kumnos > *kumlos / *kulos (отсюда kúlaa как архаический пракрытизм); в иранском *-ar- / *-ra- > *-ra-.

4. Первоначальное значение реконструируемого имени выясняется благодаря его связям с осет. дигор. igurup 'рождаться' и, с другой стороны, с гот. *us-hulōn auahōhlen* / 'делать пустым', ср. нем. *hohl* 'полый, пустой'. При таком толковании значения 'конь', 'семья' и т.п. необходимо рассматривать как вторичные.

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ И ЭВОЛЮЦИИ ВОСТОЧНОБАЛТИЙСКОГО (И СЛАВЯНСКОГО) ИНФИНИТИВА

А.Гирденис (Вильнюс)

Восточнобалтийский (и славянский) инфинитив принято считать окаменевшим дативом (и/или "локативом") отглагольных абстрактных существительных на *-ti. Однако вполне возможна и альтернативная точка зрения, согласно которой инфинитив является продолжением нескольких падежей единственного числа существительных среднего рода. О такой возможности свидетельствуют следующие факты:

а) исходная колонная баритоническая акцентуация инфинитива (отклонения объясняются законом Фортунатова – де Соссюра в литовском языке и законом Иллич-Свитыча в славянских): как известно, такой акцентуацией отличались существительные среднего рода на -i и -u;

б) широко распространенная полная степень корневого вокализма, противостоящая, например, слабой степени отглагольных прилагательных типа лит. *girtas* 'пьяный' (ср. *gérti*);

в) "согласование" инфинитива с реликтами среднего рода прилагательных, напр.: лит. *Sunkū gyvėnti žmogui pasąulyje* 'Трудно жить человеку на свете' ≈ *Sunkūs gyvėnimas žmogui pasąulyje*;

г) исконный средний род существительных на *-ti в древнеиндийском (ср. остатки типа *kāti* 'сколько').

Как доказал Э.Бенвенист, существительные среднего рода с основой на -i (и -u) характеризовались так называемым неапофоническим тематическим гласным. Следовательно, восточнобалтийские (и славянские) инфинитивы можно возводить к таким падежам "доинфинитива": ном.-акк. *dōti 'дать', *nēsti 'нести', ген. *dōte/os, *nēste/os, дат. *dōtīei, *nēstīei, инстр. *dōtīēn, *nēstīēn (?), "лок." *dōtīei, *nēstīēi (ср. др.-инд. *āvi ≥ āvis, āvyjas, pātye, gātyā и т.д.). В литовском языке им закономерно соответствовали бы: ном.-акк. *dūoti, nēsti*, ген. **dūotes* (> *dūotas* [?]), **nēstes* (> *nēstas* [?]/*dūočas, nēščias*, дат. *dūotie, nēstie*, инстр. **dūote, nēstē*, "лок." *dūoti, nēsti* (< **nēstē* < **nēstē*). В диалектах реально существуют следующие варианты инфинитива: *nēsti* (*nēsti*) → *nēst* (*nēst*, *nēšč*) → *nēšt*, *nēstie* (*nēstie* → *nēstaz*), *nēsta*, *nēščaz* (*dūočas*). Широко распространено дополнительное распределение вариантов на -t(i) и -tie, ср.: с.-жем. *nēstē*, но возвр. *nēstēi-s*, латыш. *nest* (=диал. *nešt*), но возвр. *nestiē-s* (*nešt*'i-s).

Варианты на $-t(i)$ можно считать континуантами номинатива-аккузатива исходного существительного; краткость $-ā-$, $-ē-$ в некоторых говорах объясняется влиянием "локатива". Остатками датива (в возвратных формах, возможно, и "локатива") несомненно являются варианты на $-tie$. Инструменталис на $-te < -tēn < -tēn$, по всей вероятности, дал начало отглагольным тавтологическим наречиям типа $neštē$ ($nēša$). Имеются некоторые основания считать реликтом генитива диалектный инфинитив на $-ta$ ($nēšta$ 'нести' $\leq nēštas < nēštes$) и форму 1 лица сослагательного наклонения на $-čia$ ($dūočia$ '(я) дал бы' $\leq dūočias < dōtī-as$); формально из $(dūo-)-tia$ можно вывести и южноукшайтские инфинитивы типа $(dūo)-čē$. Инфинитивы на $-tas$ ($< -tes$) не могли сохраниться, так как совпадали с соответствующими пассивными причастиями, а конечный $-s$ должен был исчезнуть под давлением омонимичного возвратного аффикса $-s \leq -si$.

Предлагаемая гипотеза, по-видимому, дает возможность более убедительно объяснить и варианты славянского инфинитива. Например, формы на $-tē$ можно толковать как восходящие к номинативу-аккузативу, формы на $-ti$ — как древний датив и/или "локатив", и т.д.

К ВОПРОСУ О ПОЛЬСКОМ И БАЛТИЙСКОМ ВЛИЯНИИ НА ОСТРОВНЫЕ ГОВОРЫ ПСКОВСКОГО ТИПА

И.Грек-Пабисова (Варшава)

Исторические судьбы псковско-новгородской земли были исключительно богаты событиями, которые оказали влияние на развитие говоров этой территории. Для языковедов интерес представляют не только псковские говоры на "материковой" территории, но и отпочковавшиеся от них группы "островных" говоров. Эти острова образовались первично вследствие переселения носителей говора — старообрядцев на польскую территорию: на сувалкско-сейненскую и гродненскую земли и в так называемую Польскую Лифляндию. На новых местах первично-островной (по терминологии А.Непокупного) псковский говор подвергался более интенсивному польскому влиянию, продолжалось небольшое воздействие литовского и белорусского языков.

Спустя почти сто лет группы носителей говора первичных языковых островов переселились на новые территории, образуя вторично-островные говоры: в Польше — в районе Августова и на Мазурии (в то время Восточная Пруссия), на Украине — на Житомирщине, на Алтае и в Сибири. На говор с напластованиями влияний первичного языкового окружения начинает воздействовать новая языковая среда.

В результате первичных миграций возникли островные говоры на славянских и балтийско-славянских территориях, испытывающих влияние польского языка. В результате вторичных миграций возникли островные говоры на исконно славянской и территории позднейшей миграции, испытывающей влияние балтийских языков; на неславянских территориях или на террито-

риях поздней русской колонизации, не испытывающих влияния ни польского, ни балтийских языков.

Поэтому в исследованиях заимствований необходимо учитывать: актуальные языковые контакты носителей островного говора, происхождение лексического состава языка (языков) окружающей среды, насыщенность заимствованиями материкового говора в момент "отпочкования" языковых островов, этапы и пути миграции, а также языковую ситуацию мигрирующей группы на отдельных этапах. Учет всех этих факторов помогает правильно интерпретировать исследуемые заимствования и установить их относительную хронологию.

Проведенные нами исследования лексики первично- и вторично-островных псковских говоров в Польше показали, что влияние польского языка в поселениях вторично-островных было лишь немногим меньше, чем в первично-островных. Удалось установить процент тех полонизмов, которые бытовали в говоре еще на материковой территории. Он также почти одинаков для первичных и вторичных поселений. По всей вероятности, подобным количеством старых полонизмов характеризуются вторичные острова псковских говоров, возникшие и на не польских языковых территориях. Необходимо отметить, что количество новых полонизмов в островных говорах во много раз превышает старые польские заимствования в материковых говорах.

Балтийские заимствования мы находим во всех островных псковских говорах. Однако их количество по отношению к материковой территории значительно снизилось. В говорах же вторично-островных бытует группа балтизмов, прочно удерживающихся в славянских говорах на всей территории бывшего Великого княжества Литовского, в польских - кашубском, восточных и юго-восточных говорах. Из других балтизмов остались лишь следы давних заимствований, главным образом перенесенная ономастика и морфологические элементы.

ПРОБЛЕМА БАЛТСКОГО ЭТНОГЕНЕЗА В СВЕТЕ НОВЫХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Р.Я.Денисова (Рига)

Систематическое антропологическое изучение этногенеза балтов началось в 50-е годы (К.Марк). К этому времени относится и обоснование принадлежности поздненеолитической культуры боевых топоров и шнуровой керамики балтскому этносу (Моора, 1956). Племена этой культуры стали интерпретироваться как припилье и древнейшие балтские племена Восточной Прибалтики. Антропологически они характеризовались как массивные европеоиды с резко выраженной долихократией. Их антропологический тип представлял собой резкую противоположность более древнему (средний неолит) на этой территории антропологическому типу племен культуры гребенчато-ямочной керамики, что в свою очередь подтверждало миграцию племен культуры шнуровой керамики.

Однако представление о приходе характере этих племен формировалось

при отсутствии каких-либо сведений о населении раннего неолита этой территории. Появление краниологических данных, относящихся к этому периоду, показало значительное сходство антропологических типов ранне-неолитических (нарвская культура) и поздне-неолитических (культура шнуровой керамики) племен, позволяющее в этом видеть их генетическую преемственность и усомниться в миграции последних на территорию Восточной Прибалтики.

Образование в последней четверти III тысячелетия до н.э. культуры боевых топоров и шнуровой керамики в Восточной Прибалтике предварительно можно рассматривать как переход отдельных родовых общин (потомков племен нарвской культуры) к производящему типу хозяйства — пастушескому скотоводству, что вызвало значительные перемены в идеологических представлениях и в материальной сфере производства. Смена хозяйственного уклада у этих племен совпала с климатическими изменениями, по-видимому, в значительной степени способствовавшими переходу к производящему хозяйству.

В связи со сказанным встает вопрос об этнической принадлежности племен культуры шнуровой керамики и боевых топоров на территории Восточной Прибалтики и правомерности признания их древнейшими балтами на изучаемой территории.

Новые краниологические данные позволяют рассматривать эпоху бронзы в Восточной Прибалтике как качественно новый этап в развитии этнических процессов, сыгравших значительную роль в формировании балтских народов. В этом периоде здесь впервые появляются узколистные племена южноевропейского происхождения. Не исключено, что они явились первыми балтскими племенами на территории Восточной Прибалтики. Эти узколистные племена, которые расселились на право- и левобережье Даугавы, в бассейне Лиелупе и в средней Литве (?), предварительно можно считать субстратным балтским слоем на изучаемой территории.

Этнонимы этих племен не сохранились. Возможно, исключением являются селы, характеризующиеся узколистным антропологическим типом и упоминаемые в Хронике Ливонии Генриха Латвийского и в Рифмованной хронике. *Fluvius Sellianus*, обозначенная на копии (X-XII вв.) старой Римской карты (III-IV вв.), где указаны водные пути Восточной Европы, предположительно отождествляется с Даугавой, что является косвенным свидетельством о проживании здесь селов в первых веках н.э. Можно предположить, что этноним селы принадлежит одному из тех узколистных балтских племен, которые в эпоху бронзы расселились вдоль Даугавы, где о их проживании свидетельствует бытующий в настоящее время селонский говор.

Следующим значительным периодом в этногенезе балтов предварительно можно считать вторую половину I тысячелетия н.э., когда курганный обряд погребения сменялся большим количеством грунтовых могильников со значительным числом погребений, указывающих на возросшую плотность населения. Смену в Литве (с V в.) и Латвии (с VII в.) погребального

обряда следует объяснять миграцией новых балтских племен, так как массивный широколицый антропологический тип племен, представленный погребениями грунтовых могильников, значительно отличался от узколицего антропологического типа населения предшествующего периода. В образовании суперстратного балтского слоя принимали участие многие племена, среди которых латгалы и земгалы (?) осваивали более северные районы.

КАТЕГОРИЯ ВОКАТИВА (ИЗ БАЛТИЙСКО-СЛАВЯНСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ)

И.Дулевичева (Варшава)

Вокатив служит грамматическому оформлению (т.е. определению) адресата речи. Категория адресата относится к общеязыковым универсалиям, по-разному реализующимся в зависимости от поверхностной структуры языка. В польском и литовском языках адресат в немаркированном виде выражен на флективном уровне, посредством звательной формы, напр.: *Piotrze!* *Pėtrai!* || *Petrè!* (уст.).

Имена собственные и апеллятивы, называющие адресата, тесно связаны (особенно в разговорной речи) с гипокоризацией, сочетающейся в плане формы с усечением корня: *Ba-siu!* *Ja-siu!* *Ва-ня!* || *Ва-нь!* Это явление общего порядка, присущее именным формам индоевропейских языков. Хотя вокатив как грамматический падеж не характерен для русского языка, но категория адресата в нем вполне жива. Она выражается главным образом словообразовательными средствами, а именно усечением (часто сочетающимся с передвижением ударения с конца/середины слова к его началу), напр.: *Екатерина* - *Ка-тя!* *Ка-ть!*, *Иван* - *Ваня!* *Ва-нь!* Этому явлению находим параллель в литовских формах как литературных типа: *žmona* : *žmōna*, так и в говорах. Особенно широкое распространение вокативных усеченных форм наблюдается (по Я.Отрембскому) в литовских диалектах, напр.: (твер.) *brā!* *šetā!* *māmā!*

ПРОБЛЕМА ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ГУТТУРАЛЬНЫХ СОГЛАСНЫХ В СВЯЗИ С ЭТИМОЛОГИЕЙ СЛАВЯНСКИХ И БАЛТИЙСКИХ СЛОВ

И.Дуриданов (София)

Проблема индоевропейских гуттуральных согласных остается до сих пор актуальной в индоевропеистике. В докладе отвергаются как ошибочные те концепции, которые реконструируют для индоевропейского праязыка палатальные согласные вроде *ǵ*. Они не могли дать удовлетворительного объяснения т.наз. "кентумных" элементов в балтийском и славянском языках. Эти концепции отражались негативно не только на этимологии балтийских и славянских слов, но и на решении проблемы этногенеза балтов и славян, поскольку т.наз. "кентумные" элементы приписывались некоему "кентум"-языку (германскому, иллиро-венетскому, кельтскому). Мы считаем, что концепция Вл.Георгиева о делении индоевропейских гуттуральных согласных на два ряда - веллярные и лабиовеллярные - оказалась единственно

правильной и перспективной. Как известно, болгарскому ученому удалось в ряде работ, начиная с 1932 года, обосновать эту концепцию на фонетическом и морфонологическом уровнях и тем самым объяснить процессы перехода индоевропейских велярных согласных в спиранты (или аффрикаты) в части индоевропейских языков. Фонологическая интерпретация этих процессов примерно такова. В индоевропейском языке велярные согласные реализовались перед *e*, *i*, *ı* в аллофонах *k'*, *g'*, *g'h*. Эти аллофоны после разделения индоевропейской языковой общности перешли в спиранты (или аффрикаты) в некоторых индоевропейских языках и постепенно получили в них статус самостоятельных фонем. Но так как в одной и той же морфеме велярные сохранились в положении перед *a*, *o*, *u* и т.д., то она реализовалась в двух алломорфах, в которых осуществлялась оппозиция велярных и спирантов (гепр. аффрикат). Далее, в результате действия закона устранения одного из двух алломорфов ("закона унификации раздвоенного корня" у Георгиева), велярный согласный был замещен спирантом (или аффрикатой) (как, напр., в болгарском разговорном языке *к* было замещено звуком *ч* в таких формах, как 1 л. ед. ч. *печ-ъ* вм. *пек-ъ*, ср. 2 л. *печ-еш*, 3 л. *печ-е* и т.д.).

Согласно принятой здесь концепции нет никаких "кентумных" элементов в славянских и балтийских языках. Это доказывается на основе большого материала из балтийских и славянских языков.

ЕЩЕ К ВОПРОСУ О БАЛТОСЛАВЯНСКО-ГЕРМАНСКИХ АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЯХ

В.А.Дыбо (Москва)

В 1961 г. в докладе "Некоторые германо-славянские акцентологические параллели" (I Всесоюзная конференция по вопросам славяно-германского языкознания - Минск 23-30 ноября 1961 г.) автором было предложено рассматривать прагерманское удлинение сонантов *-u-* и *-j-* > *-uu-* и *-jj-* (*Verschärfung*) в ряду процессов, приведших в прагерманском к сокращению *и.-е.* долгот перед гетеросиллабическими сонантами в просодических позициях, соответствующих балто-славянскому подвижному акцентному типу (гепр. *и.-е.* окситонезе), и высказано предположение о глубинной общности этих процессов с процессом озвончения германских спирантов по закону Вернера.

Материал по именным основам на сокращение долгот в германском (и соответствующие факты с сохранением долгот) перед гетеросиллабическими сонантами был полностью (в той мере, в какой его тогда удалось выявить) опубликован в работе "Сокращение долгот в кельто-италийских языках и его значение для балто-славянской и индоевропейской акцентологии" (ВСЯ, 5, 1961 г.). Однако в списки не вошли формы с *Verschärfung'* ом, т.к. надежных именных соответствий было немного и без анализа *Verschärfung'a* в глаголе они были бы непоказательны.

В докладе было обращено внимание на то, что *Verschärfung* сопровож-

дается сокращением предшествующей и.-е. долгой гласной, несводимым к и.-е. аблауту, что (наряду с непосредственным тождеством просодических позиций) связывает его с процессом сокращения долгот, ср.: герман. *ajja - 'яйцо' (крым.-готск. *ada*, др.-исланд. *egg* 'яйцо'): греч. *ὄβυ*, славян. *ъје* 'яйцо' (а.п. *ъ*); герман. *qīppas* 'живой' (др.-исланд. *kvikr* 'живой'): др.-инд. *jivān*, лтш *dzīva*, славян. *živъ* 'живой' (а.п. *ъ*) и под.

В настоящее время в связи с уточнением балто-славянской акцентологической реконструкции можно вернуться к обсуждению проблемы, дополнив материал рядом глагольных балтославянско-германских соответствий:

I. Германские основы с *Verschärfung*'ом ~ балто-славянский подвижный акцентный тип.

1. герм. **dajja* - 'кормить грудью' (гот. *daddjan*, др.-швед. *daggja*): лтш. *dēt*, *dēju* 'сосать' (вариант без *Verschärfung* 'апр.-в.-нем. *tāju*, *inf.* *tāan* 'кормить грудью', возможно, свидетельствует о чередовании акцентных контуров в первичной парадигме);

2. герм. **kiujja* ~ **k(i)euja* - 'жевать' (др.-исл. *tyggja* ~ др.-исл. *tyggva*, др.-в.-нем. *kiuvan* др.-англ. *seovan*): слав. *ъжѣ*, *ъжѣтъ* ~ *ъжѣ*, *ъжѣтъ* 'жевать' (а.п. *ъ*);

3. герм. **hauja* - 'ковать' (др.-исл. *hoggva*, швед. *hugga*, датск. *hugge*, др.-в.-нем. *houvan*, др.-англ. *hēawan*): лтш. *kaūt* 'бить, колотить', слав. *кѣѣ*, *кѣѣтъ* ~ *кѣѣ*, *кѣѣтъ* 'ковать' (а.п. *ъ*)

4. герм. **bujja* ~ **buja* (или **beuja*), с последующей контаминацией основ, 'жить, проживать, населять' (др.-исл. *byggja* ~ *byggva*, ново-исл., фарерск., норвеж., шведск. *byggja*; шведск. *bygga*, датск. *bygge*): лтш. *būt*, ср. также слав., который сохраняет подвижную а.п. в формах инфинитивной основы: *supin* 'бѣѣтъ ~ *inf.* *bŭti*; аор. *бѣѣ*, 2-3 р. *бѣѣтъ*, 1-прт., *бѣѣ*, *f.* *бѣѣ*, *n.* *бѣѣ*; формы презенса образуются от другой основы; (вариант без *Verschärfung*'а: др.-исл. *búa*, др.-англ. *būan*, др.-в.-нем. *būan* и под., - возможно, свидетельствует о чередовании акцентных контуров в первичной парадигме);

5. герм. **fleuja* ~ **flauja* - 'мнить, стирать, полоскать' (др.-в.-нем. *fleuwen*, *flouwen*): лтш. *plāst* 'замачивать для стирки' (вторично вместо *plāst*; ср. лит. *plāuti*, диал. *plāusti* 'полоскать') и, возможно, слав. *плѣѣ*, *плѣѣтъ* 'плѣѣ' (если это не особый корень, но при подобном решении можно сравнивать со слав. *плѣѣ*, *плѣѣтъ* 'затопить');

6. герм. **þreuja* ~ **þrauja* - 'угрожать' (др.-в.-нем. *dreuwen*, *drouwen*): слав. *трѣѣ*, *трѣѣтъ* ~ *трѣѣ*, *трѣѣтъ* (а.п. *ъ*).

II. Германские основы без *Verschärfung*'а ~ балто-славянский неподвижный акцентный тип.

1. герм. **spīja* ~ **sp(j)ūja* - 'плевать' (готск. *spēiwan*, др.-исл. *spíja*, др.-англ. *spīwan*, др.-сакс. *spīwan*, др.-в.-нем. *spīwan*, *spīan*): лтш. *spļaut*, *spļauju*; слав. *рѣѣѣ*, *рѣѣѣтъ* 'плевать' (а.п. *а*);

2. герм. *sǫja- 'шить' (гот. siujan, др.-исл. sýja, др.-англ. siēwan, др.-в.-нем. siuwan): лтш. sūt, sūnu, слав. *sǫjъ, šǫjetъ (а.п. а);

3. герм. *sāja- 'сеять' (гот. saian др.-исл. sá, др.-сакс. sāian, др.-в.-нем. sāen, sājan, sāwen, др.-англ. sāwan): лтш. sēt, sōju; слав. *sějъ, *sějetъ (а.п. а)

4. герм. *wāja- 'веять' (гот. wāian др.-в.-нем. wāen, wājen, др.-фризск. wāia, ср.-нидерланд. wāien, др.-англ. wāwan): слав. *vějъ, vějetъ (а.п. а)

5. герм. *spōja- 'удаваться' (др.-в.-нем. spuoen): лтш. spēt, spēju, слав. *spějъ, spējetъ 'поспевать';

6. герм. *knāja- 'знать' (др.-исл. kná, др.-в.-нем. knājan, др.-англ. snāwan): слав. *znājъ, *znājetъ (а.п. а), при *znājъ, *znājetъ (а.п. а) (двойственность корня прослеживается и на другом материале).

В первой группе примеров имеются варианты без *Verschärfung* 'а, реконструкция геминированного сонанта по западногерманским данным не всегда достаточно надежна, но в распределении соответствий на две группы, видимо, трудно сомневаться. Специфику первой группы подчеркивают краткости корневого гласного, которые при достаточно строгом подходе несводимы к рефлексам индоевропейского аблаута.

БАЛКАНО-БАЛТОСЛАВЯНСКИЕ КОНТАКТЫ В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Ф.Елюева (Ленинград)

1. Известно, что частично перекрывающиеся общности балто-славянских и балканских языков связаны в самых разнообразных отношениях. Южнославянские языки относятся к обеим общностям, весьма вероятно специфическая близость некоторых палеобалканских языков с древним балто-славянским состоянием, выявляются многочисленные и разновременные культурные контакты, сходное внешнее влияние в ряде случаев дополнительно сближает эти языки.

2. В сфере географической терминологии в предварительном порядке можно выделить следующие типы общности (приводятся примеры со значением 'дорога'):

ареальная - ср. др.-гр. *δρόμος*, н.-гр. *δρόμος*; распространившееся в южнославянских языках: ст.-сл. *ДРОУМЪ*, болг. поэт. *дром*, *друм*, схр. *drog* и т.п.;

генетическая - ср. гр. аркад. *κέλευθος*, лит. *kėliás*, лтш. *ceļš* от и.-е. *kel-;

типологическая (речь идет о типологии формирования данного значения) - др.-гр. *τρίβος* так же относится к глаголу *τρίβω* 'тереть', как ст.-сл. *ѣбѣти* к лит. *kaišti*.

3. Ожидается, что обследование достаточного объема географической терминологии может дополнительно осветить следующие проблемы:

- конкретные формы языковых контактов в разные эпохи;
- удельный вес общей унаследованной лексики и роль реконструируемых субстратных единиц в данном отношении;
- "вертикальную" группировку языков в эпоху распада поздней индоевропейской общности, в эпоху сложения региональных общностей.

ПОЛЬСКО-ЛТВИСКИЙ СЛОВАРИК?

В.П.Зинявичюс (Вильнюс)

1. Доклад посвящен анализу материалов рукописного словарика, найденного Вячеславом Юрьевичем Зиновым (жителем г.Бреста) летом 1978 г. на хуторе близ деревни Новый Двор Пружанского р-на Брестской обл. Белорусской ССР (в северной части Беловежского гос. заповедника). Двухязычный словарик, оригинал которого впоследствии был утерян (сохранилась лишь копия, сделанная В.Ю.Зиновым), имеет заголовок "Pogabskie gważy z Narewu" и содержит более 200 слов балтийского происхождения с польскими соответствиями (толкованиями). Часть балтийских лексем из словарика относится к числу общебалтийских, т.е. они полностью или частично совпадают с известными словами прусского, литовского и латышского языков; иные лексемы имеют соответствия лишь в одном или двух из указанных языков, причем нередко между ними наблюдаются различия в оформлении или семантике. Фонетика балтийских слов преимущественно западно-балтийская. В словарики приводятся также слова, выяснение балтийских связей которых связано с определенными трудностями. Анализ осложняется неточностью написания, напр. смешением глухих и звонких согласных (особенно часто *d* пишется вместо *t*).

2. Основное содержание доклада составляет обзор результатов предварительного изучения указанного рукописного словарика. Здесь мы ограничимся лишь обсуждением некоторых слов:

adlis 'orzeł', возможно, из *ardlis = лтш. *ėrglis* 'орел', ср. лит. *ėrgla* 'палун, шутник, болтун' и др. (лит.-лтш. *gl* из *dl*);
aširm 'ja (j)estem'; пр. ас 'я' (ср. лит. *ąš*, лтш. *es*); *irm* может быть из *ir* (ср. лит. *urà*, лтш. *ir*) + окончание 1 л. ед.ч. -*mi*;
drygi 'moskali', ср. белорусск. дрыг-авічы 'дреговичи' (написание *gu* вместо *gi* передает польско-белорусское произношение твердого *г*). Ср. лтш. *krievi* 'русские' от крив-ичи. Др.-русс. дрегъ-ичи предполагает **Dreg-wā*. Если связь дрег- с лит. *drėg-naš* 'мокрый' (М.Фасмер и др.) является правильной, то в слове *drygi* может быть зап.-балт. корень *drīg-* из *drėg-*;

dumo 'ciemno', ср. пр. *dumis*, лит. *dūmas*, лтш. *dūmi*;

duo 'dwa';

guti 'krzyżacy', ср. лит. *gudai* 'белорусы' (связывается с названием готов);

mildat 'kochać, miłować', ср. пр. *milijt*, лит. *mylėti*, лтш. *mīlėti*;

Naura 'rz. Narew' ;

peši 'bydło', ср. лит. *pėkus*, др.-инд. *pāśu* и др. .

rada 'praca', radid 'robić' (из *radīt*), ср. серб. *рад* 'труд, работа', *радити*, *рађим* 'работать';

tuokis 'diabeł', ср. пр. *Pa-tuls*;

valda 'jėzyk', ср. лтш. *valūda* ;

wendori 'brzuch', ср. пр. *wedera*, лит. *vėdaras*, лтш. *vėders* ;

wulks 'wilk', ср. пр. *wilkis*, лит. *vilkas*, лтш. *vīlks*.

О НЕКОТОРЫХ АРХАИЗМАХ ПРУССКОГО СУФФИКСАЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ Вяч.Вс.Иванов (Москва)

1. Прус. *smun-ent*-с 'человек' (им.п.ед.ч.), *smun-ent-in* (-*an*) 'hominem' (вин.п.ед.ч.), *smun-ent-ins* (вин.п.мн.ч.) представляет собой производное древнего общеиндоевропейского типа с суффиксом имени деятеля (*quasi*-эргатива или актива) *-nt-* одушевленного (> мужского) рода от основы на *-n-* представленной в *smun-i* 'личность' (с производным прилагательным *smūneniaku* и по Эндзелину, *Darbi ižlase*, III, 117 - глаголом *smūnint*), ст.-лит. *žmī* 'человек', *žmūni* (вин.п.ед.ч.), *žmūne* (им.-вин.п.дв.ч.) при диал. *žmu'ī* (*žasūnai*, *žmuōi*, прус. *smou*. Основа на *-n-* образована от прус. *semē*, лит. *žemė*, латыш. *zeme* из общеиндоевропейского *dh(e)ǵhōN* 'земля' (хет. *tekan*, тох. А. *tkan*, В *kem*) аналогично др.-ирл. *duine* 'человек': *du* 'земля', *don* (род.-вин.п. ед.ч.) при параллелях в других древнеевропейских языках: лат. *homō*, нѣмo < *ne-hemō*, умбр. дат.п. мн.ч. *homopus*, оск.имп.п.мн.ч. *humus* от **homōn-*, гута, др.-англ. *zuma*, др.-сакс. *gumo*, др.-в.-нем. *gomo*, др.-исл. *gumi*, ср. предполагаемый архаизм ст.-сл. *земьнъ*, ц.сл. *земьнии* 'люди, смертные'. Присоединение *quasi* эргативного (активного) суффикса *-nt-* к гетероклитической основе на *-n-* в слове с близкой семантикой обнаруживается в хет. *antuhā-ann-ant-s* 'население' (субъект переходного глагола) от *antuhā-* 'человек' + собирательный суффикс ср.п. *-atar/-ann* + активн. *-ant-*. К другим свидетельствам наличия в прусском того же типа основ принадлежит *kl-ent-e* 'бык' < **tl-ent-*, родственное слав. **tel-ēt-* 'теленос' и восходящее к переднеазиатскому миграционному скотоводческому термину (хуррит. *tilla* 'бык'); к суффиксу **-nt-* в слове с этой семантикой ср. др.-в.-нем. *hrind* (> *Rind*), др.-сакс. *hrith*, др.-фриз. *hrither*, др.-англ. *hrīðer* 'бык'. Суффикс **-nt-* того же типа в названии домашнего животного может быть отражен также в прус. *swintian* 'свинья' (лат. *su-* и т.п.), ср. лтш. *svinė* 'поросенок', и в прус. *pars-tian* поросенок (форма искажена при передаче, ср. слав. **porsete* ?). Представляется весьма вероятным тождество **-nt-* в приведенных словах с тем же суффиксом в на-

званиях персонализированных гидронимов типа латыш. *avuõts* 'родник': лит. *Avantà* др.-инд. *avata-h* 'источник', латыш. *aluota* 'родник', лит. *Alantà, Ąlantas* с широким кругом древнеевропейских, анатолийских и общеиндоевропейских соответствий, ср. хет. *witen-ant-s* 'вода' (quasi-эргатив при переходном глаголе в ритуальных формулах) и латыш. *ũdens* 'вода', а также точное морфологическое соответствие прус. *emmens, emnes* в иероглифическом лувийском. Прус. *panno* 'огонь' (с производными в мифологическом значении), как и латыш. *asins* 'кровь' и другие приведенные балтийские формы, восходит к гетероклитической основе на *-nt-, которая (в отличие от пассивной основы на *-r-, с ней чередовавшейся) могла иметь активное значение, архаичность которого удостоверяется ностратическими (в частности, дравидийскими) параллелями.

В общевосточнобалтийском представлен тот же суффикс как в прилагательных, так и в причастии действ. зал. наст. вр., в частности, в том архаическом употреблении, из которого позднее развивается косвенное наклонение, ср. близкое предикативное использование форм на -nt- типа др.-хет. *gagant-es* 'висящие', лат. *dicent-es* 'говорящие', где формы мн.ч. говорят в пользу гипотезы Эндзеллина о причинах отсутствия формы 3 л. мн.ч. на -nt в балтийском глаголе.

2. Прус. *-an- как исключительно продуктивный суффикс абстрактных (в частности, отглагольных) имен находит ближайшую параллель в хет. -ess-ar/-es-n-, в чем можно видеть одну из ярких балто-анатолийских изоглосс (с отдельными аналогиями в праславянском).

3. Запутанная проблема индоевропейских производных от *an-i-u- 'связывать, сшивать' проясняется благодаря несомненному тождеству хет. *ishi-mana-* 'веревка, ремень' и прус. *schumeno* 'Schusterdracht' (с исходным значением *-meno- как медиопассивного причастия, отраженным в архаических балтийских и анатолийских формах), ср. др.-инд. *ayū-man* 'нить' (древняя баритонированная основа).

ПРУС. *Bardoayts, BORDUS* И ПРОБЛЕМА НАЗВАНИЙ 'БОРОДЫ' В ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ

Вяч. В. Иванов (Москва)

Предложенное В.Н.Топоровым толкование *Bardoayts* как древнего эпитета 'бородатого' бога позволяет сгруппировать трех основных прусских богов Симона Грунау по признаку 'безбородый' (Потримпс) - 'бородатые' (Перкунс, Потолс). В свою очередь прусский Перкунс при этом типологически (борода и пламя), а возможно и генетически (при смене названия) отождествляется с древнеармянским богом-громовником Ва(х)агном, который согласно гимну описывается точно так же: *na howr her ownēr, boc ownēr dōrows* 'он пламя имел вместо волос, огонь вместо бороды'.

Др.-арм. *mōrows*, вин.п.мн.ч. (неопр.) от *mawrowk* 'борода'

(*pluralia tantum*) восходит к древнему общеиндоевропейскому названию, отраженному в др.-инд. *śmaśru*, лит. *šmāštras*, латыш. *šmakrs* с таким же позиционно обусловленным (последующим -r) отступлением от *satəm*-ного отражения, как в алб. *mjekrë* и хет. *zamankur* с метатезой -ur<-ru (возможно объясняющей незакономерное k из k' перед -u-), в западноиндоевропейском: др.-ирл. *smech* 'подбородок', ср.-ирл. *sm eig, smig*, лат. *māla* 'челюсть', уменьш. *maxilla*, др.-исл. *šmaētra, smari*, швед. диал. *smäre*, др.-англ. *smāeras* 'губы' и в северокавказском заимствовании, где представлена сходная с древнеиндийской (или другой подобной ей *satəm*-ной индоевропейской, реально, однако, нигде кроме индоарийского не засвидетельствованной, что может объясняться позднейшей инновацией в иранском и кафирском) форма: о.-дагест. **mVšVr/mVš'Vr* 'борода'. Принимая в принципе предложенное автором сравнение общедагестанской формы с индоевропейской *satəm*-ной, Марки в недавней работе предполагает, что первая могла восходить и к форме без *s*- (типа древнеармянской?). Вместе с тем он показал, что данное название 'бороды' является общеиндоевропейским, а в части диалектов было позднее заменено инновацией **bhar-dha-* (лат. *barba, barbatus*, рус. борода, бородастый, ст.-слав. брада, бродать, слав. **bŕdo* > венг. *borda*, лит. *barzdā, barzdŏtas*, лтш. *bārda*, прус. *bordus*). Согласно правдоподобной гипотезе Марки, новообразование **bhar-dhā-* было связано с др.-инд. *bhr̥g̐ti* 'острие' и лат. *far*, гот. *barizeins* - обозначением *Hordeum sativum*. Существенно то, что (в соответствии с основополагающей работой В.М.Иллич-Свитыча о семитских заимствованиях в индоевропейском) этот последний сельскохозяйственный термин был заимствован в индоевропейские диалекты западной (условно "древнеевропейской") группы до их прихода в Европу. Очевидно, данная инновация имела определенное ритуальное значение, которое сохраняется в славянских выражениях типа рус. завить бороду Велесу: речь шла о том, что во время исполнения обряда человеку (в ритуале символизировавшему мужское антропоморфное божество) приставляли бороду, сделанную из соответствующего злака; этот обряд входил в цикл сельскохозяйственных обрядов. По-видимому, данный конкретный обряд (и само наименование **bhar-dhā-* < **b^har-d^hon*) был распространен в той диалектной области, где вне ритуала (как у славян, римлян, вероятно балтов) обычно брили бороды. Кажется, однако, вероятным, что самый обычай ритуального изготовления бороды из материала, специального для данного обряда, был общеиндоевропейским. В пользу этого предположения говорит то, что др.-инд. *śmaśru* внутри самого древнеиндийского может иметь достаточно прозрачную этимологию, отражающую и вероятную внутреннюю форму индоевропейского прототипа этого слова: *śmaśru* < *śm-an* 'кожа' + *śr-* 'украшать'; форма др.-инд. *śman* объясняет хет. -an в *zamankur* и соответственно делает правдоподобной реконструкцию типа **smonkru* (в отличие от общепринятой), откуда позднейшее **smokru* (вероятно, образовавшееся после утраты исходной внутренней формы слова).

Предлагаемая семантическая реконструкция обряда, при котором борода (возможно, исходно в индоевропейских обычаях отсутствовавшая в ритуально немаркированной ситуации) приставлялась к ритуально значимому лицу, может быть подтверждена и хеттскими текстами. В частности, в гимнах Солнца, основанных на шумерских и аккадских (старовавилонских) прототипах, речь идет о бороде (*zamankur*) из лазурита. Сходство со словоупотреблением древнеармянского гимна, где это же индоевропейское слово (*mawrowk*) используется для обозначения ритуальной бороды из пламени мифологического персонажа, разительно. Хеттский (сложившийся под очевидным древнеближневосточным влиянием) образ бороды из лазурита у Бога Солнца настолько близок к армянскому символу бороды из огня у Ва(х)агна, что естественно задаться вопросом, не отразились ли здесь хетто-протоармянские культурные и религиозные связи времени, когда уже осуществлялся контакт между хеттами (к тому времени испытывавшими влияние вавилонской религиозной традиции) и протоармянами. Но возможно и другое: при близости диалектов (протоармянского и дописменного хеттского) общая форма **(s)mo(n)kru* могла достаточно рано использоваться в качестве обозначения элемента обряда привешивания символической бороды как символа плодородия мужского божества. Позднейшие переднеазиатские влияния могли содействовать продолжению этого общиндоевропейского употребления, но сходство может и целиком объясняться общими истоками, на которые в случае хеттского наслонились позднейшие шумеро-вавилонские влияния.

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ОКОНЧАНИЯ 3 Л. НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛОВ С ОСНОВОЙ НА *-i/-ē-* В БАЛТИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

С.Каралонас (Вильнюс)

Ввиду структурной близости глаголов состояния с основой на *-i/-ē-* в славянских и балтийских языках (ст.-сл. *ъни-тъ, ънѣти* = лит. *mini, minėti*; ст.-сл. *бъди-тъ, бѣдѣти* = лит. *būdi, budėti*) предполагается, что как сл. *-i-*, так и лит. *-i-* в 3 л. ед.ч. наст. вр. восходит к и.-е. **-ei*: ср. ст.-сл. *ъни-тъ* = лит. *mini* = лат. *(me-)minit* < и.-е. **m-n-ei* (Е.Курилович, К.Уоткинс, Ф.Бадер). Данное положение, однако, представляет определенные трудности в согласовании его с фактами истории балтийских языков.

Во-первых, редукция долгих и исчезновение кратких гласных в абсолютном конце слова в жемайтских говорах литовского языка и в латышском языке (лит. жем. и лтш. *tur* 'имеет, -ют' из **turi; *turei* в латышском дало бы **turi*) и возвратные формы глаголов (ср. лит. *myli-si* 'любят друг друга'), в которых перед частицей *-si* сохранился бы древний лит. **-ie* < и.-е. **-ei* указывают на исконное окончание **-i* в 3 л. наст. вр. глаголов с основой на *-i/-ē-* в балтийских языках, в чем согласуются данные всех трех балтийских языков (ср. лит. *tūri*, лтш. *tur* < **turi*, прус. *tur, turri* 'имеет, -ют').

Во-вторых, рефлекс *-i* в позиции конца слова или словоформы в литовском языке дает только акутовый, т.е. и.-е. долгий, ди́тонг * *ēi* (лит. *-i* < **-ie* < и.-е. **-ēi*), во многих случаях сохраняющийся в закрытом конце (ср., напр., 2 л. ед.ч. наст.вр. *sukl* 'крутишь, поворачиваешь': *sukiesi*; им.п. мн.ч. о-основ *jaunl* 'молодые': *jaunieji*).

Представляется возможным балтийское *-i* (ср. лит. *turiu* < **turi-*о, *turi* < **turi-ēi*, *tūri*, *tūri-me*, *tūrite*) генетически сопоставить с *-i* 3 л. ед.ч. пассивного аориста (**-kār-i* 'он был сделан') и с *-i* I л. ед.ч. медиального имперфекта и аориста (**-dvig-i* 'я ненавидел') в древнеиндийском, в связи с чем исключительную важность приобретают инъюнктивы типа *pámé-i* 'я достаю, достал', *pādi* 'он падает, идет, пал, пел'.

Характерным корневым вокализмом древнеиндийских медиальных форм, как и глаголов на *-i/ē-* в балтийских языках, является нулевой; среди форм пассивного аориста также встречаются формы с нулевым вокализмом (ср. др.-инд. *a-kr-i*, *a-vṛn-i*). Пассивное значение при транзитивных глаголах, по-видимому, является секундарным, и первоначально пассивный аорист скорее всего был интранзитивно-медиальной формой, по значению близкой к глаголам состояния в балтийских языках. Как формы с **-ē-*, которые сопоставляются с древнегреческими пассивными аористами на *-η-*, так и данные формы с **-i*, по-видимому, относились ко второй серии индоевропейских глагольных форм (по терминологии Вяч. Вс. Иванова).

К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИИ СКАЗОЧНЫХ СЮЖЕТОВ

Б.П.Кербелите (Вильнюс)

Обнаружение заимствованных сказок в репертуаре какого-либо народа — еще нерешенная проблема фольклористики. Суждения о родине и миграции сказочных сюжетов, которые высказываются фольклористами на основе распространения вариантов, недостаточно убедительны: широкая популярность сказки далеко не всегда свидетельствует о ее исконности в репертуаре того или иного народа. Для выявления заимствованных сюжетов мы предлагаем использовать методику описания структур и семантики текстов (1) и способ генерирования закономерных, теоретически возможных версий и вариантов определенного сюжетного типа сказки (2). По этой методике подробно анализируется несколько сходных на конкретно-языковом уровне, логически завершенных и сложных вариантов; структуры текстов описываются через типы элементарных сюжетов (ЭС), отмечаются отношения между ЭС, определяется главный ЭС и устанавливается сюжетный тип сказки. Затем описываются макроструктуры тех же текстов через семантические блоки и отмечаются отношения между ними. С учетом значимости каждого семантического блока и отношений между ними генерируются теоретически возможные более простые и архаичные макроструктуры, соответствующие макроструктурам текстов, представляющих версии данного типа сказки.

На основе анализа текстов литовских волшебных сказок нам приходилось генерировать версии многих сюжетных типов. Последующий анализ и группировка всех имеющихся литовских вариантов данного типа убеждали нас, что реальные версии соответствуют описанным теоретически, и лишь единичные незакономерные тексты не укладываются в заранее определенные классы. Некоторые теоретически возможные (чаще всего — архаичные) версии в литовской традиции не обнаруживаются, но таких случаев в большинстве проанализированных нами типов сказок немного.

Однако выделяются сюжетные типы, которые в литовском фольклоре представлены лишь весьма сходными между собой вариантами со сложной сюжетной структурой. К ним, в частности, относится сюжетный тип "Герой демонстрирует антиподу свое превосходство над ним" (приблизительно ему соответствует сказка о Покатигорошке, АТ 312). 15 вариантов этого типа зафиксировано в разных районах Литвы, но ими не представлены возможные архаичные версии. Кроме того, в других литовских волшебных сказках не обнаружены некоторые ЗС и простые структуры, важные в строении текстов данного типа. Это свидетельствует о том, что в литовском фольклоре отсутствует почва для образования сложных сюжетных структур этого типа сказки, следовательно сказка может быть сравнительно поздним заимствованием. Сказка о Покатигорошке преимущественно фиксируется у восточных славян, в части литовских вариантов обнаруживаются внешние восточнославянские признаки (имена персонажей и пр.). Поэтому правомерно предположить, что сказка заимствована литовцами у восточных славян. Предположение мог бы подкрепить лишь анализ и группировка всех имеющихся восточнославянских вариантов (доступных нам печатных вариантов недостаточно, так как сложность и большое сходство их сюжетных структур могут быть обусловлены отбором публикуемых текстов).

К ВОПРОСУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЛАВЯНСКОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНЕЙ БЕЛОРУССИИ

Ф.Д.Климчук (Минск)

Появление славянского языкового элемента на территории нынешней Белоруссии осуществлялось в несколько этапов и было связано с контактами с балтийской речью на этой же территории. Позднее всего оно осуществилось на северо-западе Белоруссии, где до настоящего времени сохранились литовскоязычные острова. В других регионах Белоруссии ассимиляция балтийских островов (или массивов) проходила в эпоху Великого княжества Литовского, древнерусских княжеств, Киевской Руси. Еще раньше этим процессом были охвачены балтийские этнические группы в составе кривичей, радимичей, дреговичей.

Этому предшествовала славянизация тех земель (Принеманье, центральная Белоруссия, часть Подвинья), где фактически отсутствует архаическая славянская гидронимия. Принять точку зрения о древнем расселении славян на этой территории можно лишь в том случае, если допустить

последующую смену славяноязычного населения балтоязычным в этой области и балтизацию славянской гидронимии.

Основное диалектное членение белорусского языкового ареала — это его деление на юго-западные и северо-восточные говоры. Массивы этих диалектных групп в основных чертах соответствуют ареалам племен дреговичей и кривичей, которые занимали до 80% территории нынешней Белоруссии. Других исторических границ, делящих Белоруссию на юго-западную и северо-восточную части, не находим. При формировании этих двух племен существенную роль сыграли колонизационные движения с юга и северо-востока, которые сошлись в центральной Белоруссии в X в., а в северо-восточном — Принеманье еще позже. Представляли ли эти колонизационные движения изначальную славянизацию центральной Белоруссии или же говоры их носителей, наложив некоторый отпечаток на уже существовавший здесь славянский диалектный ландшафт, в основном растворились в последнем? Мы отдаем предпочтение второму варианту. Так, пучки изоглоссы, разделяющие Белоруссию на юго-западную и северо-восточную части, перекрывают собой более старые пучки, объединяющие юг и восток Белоруссии, где, кроме того, распространена архаическая славянская гидронимия, зона которой, естественно, славянизировалась ранее центральной Белоруссии. Между юго-западными и северо-восточными белорусскими говорами переход постепенный. Среднебелорусские говоры, сочетающие особенности юго-западных и северо-восточных белорусских говоров, занимают территорию, мало уступающую ареалам двух основных белорусских диалектных единиц. Говоры всех трех групп представляют своего рода лингвистическую непрерывность (юго-запад — северо-восток) и противопоставляются другим восточнославянским языковым единицам. До образования племен кривичей, дреговичей, радимичей в юго-восточной половине Белоруссии и прилегающих регионах существовала культурная область, характеризующаяся определенным единством (древности колочинского и близкого к нему банщеровского типа). Она могла объединять славяно- и балтоязычное население, а также балто-славянских билингвов, что неизбежно при переходе с балтийского языка на славянский.

Ареал радимичей на территории Белоруссии почти полностью "вписывается" в зону среднебелорусских говоров. Может быть, радимичский диалект был перекрыт юго-западными и северо-восточными влияниями, но не исключено, что и в самом начале он был "переходным" между диалектами дреговичским и кривичским.

Область архаической славянской гидронимии на территории Белоруссии в основном соответствует северо-западной части ареала зарубинецкой культуры.

С.Ф.Кольбушевский (Познань)

О. В 1878 г. Московское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии поручило К.Барону (1835-1923) взять на себя работу по собиранию (а позднее по изданию) латышских народных песен, которую ранее вел Ф.Бризземниекс. Эта работа продолжается в Риге, в АН Лат. ССР, ее результатом является академическое издание "Латышских народных песен" (Latviešu tautasdziesmas. Rīga, "Zinātne", t. 1, 1979; t.2, 1980; t.3, 1981; t.4, 1982). С этой неотложной задачей латышской филологии связана подготовка "Словаря латышских дайн" (Latviešu tautas dziesmu vārdnīca, ср.: V.Rūķe-Dravīša, 1961), который включал бы весь лексический материал латышских дайн. Составной частью этого лексического материала являются славянские заимствования.

1. Славянские заимствования - свидетельство древних и более поздних этнолингвистических латышско-русских, латышско-белорусских, латышско-польских контактов - чаще всего встречаются в горах и народных песнях Латгалии. Степень осознания славянских заимствований в народных песнях Латгалии не одинакова. Это вытекает между прочим из того факта, что заимствования из отдельных славянских языков, вообще говоря, образуют (в количественном и качественном отношении) группы более или менее релевантные а) в словарном запасе говоров нижнелатышских и говоров верхнелатышских, б) в словарном запасе латышских дайн вообще и дайн латгальского ареала. В связи с этим внимание исследователей было сосредоточено на славянских заимствованиях в порядке их убывающей частотности в говорах, т.е.: 1. русские заимствования (древние и более поздние); 2. белорусские заимствования; 3. польские заимствования (ср. А.Лама 1969, 119).

Изучение всех славянских заимствований, выступающих в латышских народных песнях (среди них и группы *hapax legomena*), и точное определение их источников необходимо для полного издания Словаря латышских дайн.

2. Польские заимствования в латгальских говорах и латгальских дайнах, как свидетельство польско-латышских контактов в польской Ливонии (прежде всего, 1561/1629-1772 гг. - т.наз. *poļu laiki*), относятся к административно-правовой терминологии (Д.Земзаре 1961), ремесленной, сельскохозяйственной, кулинарной терминологии (А.Рексена 1975; В.Лаумане 1974, 1977; А.Брейдакс 1969), церковной терминологии (С.Р.Колбусzewski 1982) и т.д. Дистрибуция польских заимствований в латгальских народных песнях ограничена в пространстве и времени, а именно: 1) польские слова, отмеченные в ареале Латгалии (т.е. в б. польской Ливонии), не засвидетельствованы в ареале Видземе (т.е. в б. шведской Ливонии) или в Земгале и Курземе (т.е. в б. герцогстве Курляндском). См.: Лаумане 1974 и др.; 2) польские слова, еще зафиксиро-

ванные в текстах дайн (главным образом, в качестве лексических архаизмов), уже не отмечаются в диалектных текстах (ср. с известными исключениями). См.: S.F.Kolbuszewski 1983.

Кроме того, польские заимствования в латгальских дайнах могли быть приняты через посредство литовского языка (см., в частности: A.Rekšna 1975, и др.).

3. Лексический материал к "Polonica в Латвийских народных песнях (Tdz)" почерпнут из работ Prof. P.Šmita piezīmes (in: Tdz 4, 211-238): речь идет о словах, которые не рассматривают Я.Эндзелин (ME, EH), Э.Френкель (LEW), А.Озолс 1955 (т.е. Paskaidrojotā vārdu- ca folkloras leksikā, in: Ldz 121, 1) и др.

Лексический материал:

Ср.: šipka Tdz 47 646 (: польск. czepek); kapata BW 5 726, BW 28 344, BW 31 098: см. ME II 157, EH I 586; J.Schwera 1953, 47 (возм. польск. kapota); klošs Tdz 58 226 (вор.) + 58 295 (:польск. klosz); kuntuži Tdz 58 226, 1-2 (польск. литер. kontusz, польск. диал. kuntusz, возм., из венг.); saluba // salupa Piez., 233 (:польск. salopa из франц.); sveita Tdz 58 226, 5 + 16 (возм. польск. świta); župāns Tdz 58 071 (:польск. župan) и т.п.

К вопросу о лтш. названиях денег см. I.Zemzaris 1982: среди прочего, dukats BW 35 135 (202a = kg Striķi + kg Saldus), ср. польск. dukat, лит. dukātas и др.; grošs Tdz 58 112 (возм. польск. grosz); timpa BW 35 110, 1 (195b = kg Rapķi), BW 35 110, 1 (200a = kg Skrunda), ср. польск. tymf // tynf.

Ср.: šūra // šūra Tdz 58 087-88 (:польск. ciura); galaga- ni Piez. 213 (:польск. gaigan); mošcipani Tdz 58 071 (:польск. mościpan); stārasts // stōrastens, в частности: Tdz 58 105 (ср. BW 20 514) + E.Wolter 1890, 90, nr. 1-2 = (Krāslava) : ср. польск. starosta, лит. stōrasta(s), рус. староста; šlachta Piez. 219 (:польск. szlachta); zacerniki Piez. 220 (:польск. zacierka, vs. белорус. зацірка) и т.д.

О ЛИТОВСКОМ ВЛИЯНИИ НА СЛАВЯНСКУЮ ТОПОНИМИЮ И АНТРОПОНИМИЮ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДЛЯСЬЯ В ХУ - ХУП ВВ.

М.Кондратюк (Варшава)

I. Название Подлясье, ранее Подляшье, возникло в Великом княжестве Литовском на рубеже ХУ-ХУП вв. как наименование лежащей у границы с ляхами (=поляками) части Трокского воеводства, охватывающей занимаемые Литвой земли над средним Бугом, верхним Наревом, а также часть восточной Мазовии.

В той области Подлясья, которая охватывала земли между Наревом и Бебжей, еще в ХУ в. был лишь замок Goniądz. Затем возникли первые поселения вблизи замка и вдоль бебженских болот. В Гонёндзе и этих первых деревнях жили только мазовшане. Большую часть территории покрыва-

ли леса, которые в период правления литовских наместников заселялись литовским и русским населением, что не исключало, однако, притока мазовецкого населения. Магнаты и литовско-русские наместники, подвластные Трокам (Глинские, Радзивиллы, Гаштольды) переселяли в частновладельческие и королевские земли на Подлясье литовских и белорусских колонистов из своих имений в Литве и над Неманом.

Рядом с многочисленными польскими деревнями, имеющими чаще всего названия, перенесенные из Мазовии, появились деревни с литовскими и русскими названиями.

П. В докладе приводятся существующие и забытые названия местностей балтийского (главным образом, литовского) происхождения; некоторые названия анализируются в языковом плане, причем принимаются во внимание наиболее ранние исторические фиксации топонимов и современное диалектное звучание этих топонимов, засвидетельствованное на местах. При анализе используются сравнительные материалы, относящиеся к балтийскому языковому ареалу. Балтийскими, в частности, признаются следующие названия поселений: *Czekołydy, Dobarz, Downary, Giełczyn?, Ginie, Gińce, Gugny, Jadeszki, Jaświłki, Jaświły, Jatwież Duża, Jatwież Mała, Jowniki, Kiermusy, Klewianka, Masie, Mejły, Mociesze, Olisski?, Radzie, Rekle, Romiejki, Świersbienie, Tarusy, Wodzikówka, Wojszki, Wołkuny, Zubole, Zucielec, Zyburty, Żagi, Żodzisz* и др.

Ш. Балтийское влияние на антропонимию центрального Подлясья показано на примере списков крестьян в инвентарях XVI в. княжеского и тыкоцинского староств. Анализ этих списков показал, что во многих деревнях того времени выступали имена и "фамилии" литовского происхождения или содержащие какой-либо литовский элемент. Например, в Инвентаре княжеского староства 1565 г. в соответствующих деревнях отмечены, в частности (звучание собственных имен и орфография даны по источнику): *Bartulis, Bełdyka, Brozius, Brozis Litwin, Bubil Pilis, Dauksiewicz, Dojnis, Dojgiako, Dojgielewicz, Dougieł, Dubinis, Dzidziulis, Giń, Giniewicz, Gierwa, Gudzio, Jurgis Mużejko, Jurgis Golejewicz, Kieturko, Kibilda, Kibułda, Kyrwietis, Kiskielin, Krowlucys, Kuliens, Kuprelis, Lejda, Zawrus, Malis, Mielwid, Miskinis, Mieskucis, Moczius, Mackielewicz, Nosuta, Nosutka, Narmunt, Onelis, Paczejko, Parejko, Marcis Palwinis, Pilwinis, Pilis Csepielewicz, Pienkuczis, Rekiecz, Reklis, Rimsis, Romiejko, Sarejko, Stanelis, Smilginis, Szala, Szeluginis, Szepiel, Szubada, Szupiet, Trompik, Wach, Warszylis, Grygus Wierklis, Zdaniejko, Żagus, Żegoń, Żybielis, Żubielis, Żylis, Żwerblis.*

Названные выше крестьяне были, очевидно, литовцами, а некоторые, возможно, потомками ятвягов. Приведенные антропони́мы происходят из более чем десятка деревень. Названия некоторых из этих деревень имеют балтийскую этимологию (напр., *Jacwież, Jaświły, Jowniki, Rekle*, и др.).

Определение количественной доли балтийских элементов в антропони-
мии центрального Подлясья в XV-XVII вв. требует дальнейших исследова-
ний.

ПЕРУНЬ, ВЕЛЕСЬ И БАЛТО-СЛАВЯНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

Ю.Лаучуте (Ленинград)

На фоне многочисленных балто-славянских языковых (в особенности -
лексических) изоглосс своего рода отступлением от общего положения
является область мифологической, культовой лексики, связанной с дре-
вними языческими верованиями балтов и славян. Здесь общие изоглоссы
составляют сравнительно небольшую часть. Глаз исследователя, привык-
ший поминутно наталкиваться на явления, общие для балтийских и славян-
ских языков, и здесь ищет факты, говорящие об общем происхождении то-
го или иного обычая, божества и соответствующего им наименования. Ре-
зультатом таких поисков явились попытки объединить названия: др.-
русс. Перунъ и лит. Perkūnas (включая их соответствия в других сла-
вянских и балтийских языках), др.-русс. Велесъ 'скотий бог' и лит.
vėlės (ед.ч. vėlė) 'души умерших'. Однако фонетические, словообра-
зовательные, этимологические и семантические особенности приведенных
имен свидетельствуют о значительных расхождениях в происхождении этих
слов на почве балтийских и славянских языков в отдельности, что не по-
зволяет отнести исследуемые слова к числу общих балто-славянских изо-
глосс. Внешнее сходство этих слов может быть объяснено или как резуль-
тат независимого образования от общего праиндоевропейского корня, но
с помощью разных словообразовательных средств (в случае с Пер-унъ и
Per-kūn-as), или вообще как случайное совпадение (Велесъ - vėlės).
Если же настаивать на общности происхождения этих названий (а не кор-
ней), то остается признать заимствование из балтийских языков в сла-
вянские по выше упомянутому фонетическим, словообразовательным и др.
причинам. О принципиальной возможности такого заимствования свиде-
тельствуют также следующие факты: а) наличие многочисленных заимство-
ваний в области древнерусской языческой культовой лексики (например,
из иранских языков) - в целом; б) балтийский источник заимствования в
этой области подтверждается другим культовым термином - балтизмом
русс., брл. Радунца (радаўница, радавица, радованица, радощница,
радоница и др.) 'день поминовения усопших', ср. лит. raudinė 'молит-
ва за умерших с плачем и причитанием', raudà, raudāvinas 'плач;
плач с причитанием' и т.д.

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНЫХ БАЛТИЗМОВ В ПОДМОСКОВЬЕ

М.И.Лекомцева (Москва)

1. Название деревни Межутино Уваровского р-на (на самом западе Мос-
ковской области), расположенной на левом берегу Иночи в 4 км от дер.

Гледково (см. диагностическую значимость топонимов с корнем *Galind- : В.Н.Топоров, БСИ, 1981, с.21-23), вопреки местной традиции, связывающей это название с межой, что похоже на позднейшее переосмысление, может рассматриваться и с балтийской точки зрения: ср. лит. *Mėdžialkalis*, *Mėdžialaukis*, *Mėdžilenkė*, *Medžiščiai*, *Mėdžiolai*, *Medžio-nys*, *Medžiūkai*, *Medžiūniškės*, *Medžiūliai*, *Medžiūškiai*, *Mėdžvalakiai*, *Mėdžvalakis* (LATSŽ, II, 178), лтш. *Mežotne* и др.

Эти параллели ведут к корню, представленному прусск. *median* 'лес', лит. *mėdis* 'дерево' (ср. *mādzis* 'лес' - *Arumaa*, 31), м'адз'ага 'лес' (зап. в дер. Дайнава к плу от Ячун), лтш. *mežs* 'лес', курш. *Meddemes* (KF 1253), *Medda*, *Medde* (KF 1253). В связи с этим интересно местное предание, рассказанное Гузуновым (прозванным Чикунлайчиком), по которому раньше Межутинская церковь стояла на правом, более высоком берегу Иночи, в лесу, на месте, которое называется Пустошь (теперь там лес, ничем не отличающийся от окружающего), а потом "ушла под землю". Это может быть связано с тем, что в прежние времена дер. Межутино могла располагаться, как было типично для древних поселений, на правом, высоком, лесистом берегу Иночи, где стояла церковь (а не часовня) и была земля, свободная от леса ("Пустошь"). Тогда название Межутино получило бы реальную мотивировку и стало бы понятно такое редкое - на левом берегу реки - положение этой деревни теперь.

2. Заливной луг между дер. Межутино, Заслоино и поселком Поречье зовется до сих пор Клонцом. Если учесть, что -ц- - явно суффиксально-го происхождения, то корень *klon-* сопоставим с лит. *klānas* 'небольшое болото, лужа' (DKJ 311); лтш. *klāni* плавни, *klānu siens* 'подовое сено'; низкий берег, заливной берег, болотистое место (Френкель, LEW, 264); лит. *klōnis*, лтш. *klāns*, *klāns*, *klānis* 'низкое место, долина, равнина, низинный заливной луг, большое низинное поле, часть поля под горою, соединяющегося с лугом, участок, полоса, клочок земли, могильная яма, небольшое болото' (цит. по Л.Г.Невской, ЛГТ, с.42, ср. с.41). Тогда можно думать, что это название представляет собой реликт балтийского апеллятива.

3. В дер. Межутино сохранилось прозвище Котик-марготик, построенное как частичное удвоение. Интерес представляет элемент *мартг-*, напоминающий лит. *marg-*, лтш. *marg-*, рассмотренными с точки зрения сочетаемости соответствующих лексем и реконструкции семантического развития этого поля Л.Г.Невской. В частности, ею отмечена в литовской традиции регулярная связь этого корня с обозначением кота.

4. Самин (фамилия в дер. Заслоино) может быть рассмотрен в контексте лит. *šamas*, лтш. *vams* 'сом' и др. (Френкель, LEW III-716).

5. Ланцава 'длинные дроги без кузова для перевозки бревен' (Иванова, 249) трудно этимологизируется в славянском контексте. Если это слово рассматривать как балтийский реликт, то оно сопоставимо с лит. *landyti* 'лазить', лтш. *luodēt*, *luodāt* 'ползать' (ME II 523).

6. На месте города Пушкино по свидетельству жительниц примыкающей теперь к городу дер. Афросимовки Виноградовых раньше была дер. Харино. К востоку от нее, уже в Зарайском р-не, расположена большая дер. Карино. Любопытно, что эти деревни были в стороне от больших дорог, в то время как недалеко от них на оживленных путях стоят деревни Дракино (к югу от Харина, на Тульской дороге) и Воиново (к северу от Харина, на Рязанском шоссе). Эти соотношения заставляют вспомнить балт. *kar-, напр., лит. *kāras* 'война', *karūs* 'воин', лтш. *karē* 'война', пр. *carlawoytes* 'Herschaw' (Френкель, LEW 220), *kargis* 'войско', восходящее к *karjis (В.Н.Топоров, ПН, I - К, 221-228). Ср. семантический параллелизм в литовских топонимах *Karėiviškes*, *Karėiviškiai*, *Karėiviškiai*, *Karėivonyš*, *Karėivos* (LATSŽ, II, 123). Отношение х-к может быть гиперизмом к балтийской передаче славянского х, как в современных ситуациях двуязычия: ср. лит. островн. *kaž'áistva*, *saká* (Т.М.Судник, 52), в латгальских говорах заимствования типа *p'e-tūk* (М.Ф.Семенова, 40). К югу и западу от Москвы отмечаются как колебания х-к (вяхать ~ вякать, кохнуть ~ кокнуть), так и противопоставления халат - калат (записано в дер. Афросимовке).

7. Между Афросимовкой и Харином текла (теперь засыпана) (граница между деревнями шла "по живой воде") речка Блидейка (записано от А.С.Виноградовой из дер. Афросимовки). В славянском контексте этот гидроним ("Блуждающая") мог бы быть связанным с карстовыми явлениями этой местности. Против этого говорит произношение афросимовцами форм, восходящих к носовым, с а: *p'at'órkъ*, *v gr'ad'é*, - но основным соображением в пользу балтийской этимологии этого гидронима является его словообразовательная модель: ср. ближайшую Серпейку (В.Н.Топоров, БСИ, 1981, с.21), а также другие балтийские гидронимы Подмосковья: Белейка, Вилейка, Дидейка, Желанейка, Кледейка, Турейка (там же, с.6-7) - ср. в лит. гидронимы с суффиксальным *-eik-* (А.Ванагас, Образование гидронимов, с.107-108). Тогда корень *blid-* входит в большую группу балтийских гидронимов: лит. *Blendà*, *Blinda*, *Blindupis* и др., лтш. *Blīdene*, *Blīdiens-kalns*, пр.-ятв. *Blinduppe* (А.Ванагас, ЛНБЖ 67), пр. *Blinde*, *Blind-gallen*, *Blindu-roenen* В.Н.Топоров, ПН, А-В, 233-234) и др. с кельтско-илирийскими параллелями (там же).

ЗАПАДНОБАЛТИЙСКИЙ СУБСТРАТ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

В.В.Мартынов (Минск)

Концепция формирования праславянского языка на западном ареале протобалтийского языкового массива (Т.Лер-Сплавинский, В.Н.Топоров) получила к настоящему времени достаточно широкое признание. Менее убедительным показалось выдвинутое еще Лер-Сплавинским предположение о том, что начальный период становления славянской языковой общности начался со времени наслоения языка италийского типа (гесп. венетского) на западнобалтийский субстрат.

В наших работах ("Балто-славяно-италийские изоглоссы", Минск, 1978 г., "Язык в пространстве и времени", Минск, 1983 г.) мы стремились обосновать этот тезис на основе обширного лексического материала. Нами был выделен ряд синонимических пар типа *pirstis - palstis*, в которых один из элементов имел по крайней мере балтийскую параллель (типа лит. *pirštis*), а другой - только точную итальянскую параллель (типа лат. *pollex, -icis*). Эти работы позволили выделить в праславянской лексике первичный балтийский и вторичный итальянский ингредиенты, пространственно-временная интерпретация которых сводилась к подтверждению наслоения итальянского суперстрата на балтийский субстрат. Неясной при этом оставалась роль именно западнобалтийского языкового состояния.

В нашей новой работе, примыкающей к этому циклу исследований ("Пруско-славянские эксклюзивные изоглоссы" - в печати), по-видимому, удалось снять сомнение в западнобалтийском характере балтийского ингредиента праславянского языка. Результаты этой работы сводятся к следующему.

В 13 из 16 случаев пруско-славянские эксклюзивные изоглоссы имеют итало-кельтскую языковую ориентацию: др.-прус. *ayculo* 'игла' ~ праслав. *jъgъla* ~ лат. **jug-ula*; др.-прус. *babo* 'боб' ~ прасл. *bo-ba* ~ лат. *faba*; др.-прус. *gabawo* 'жаба' ~ прасл. *žaba* лат. *būfō*; др.-прус. *geits* 'хлеб' ~ прасл. *žito* др.-ирл. *biad, biith*; др.-прус. *lauxnos* 'небесные светила' ~ прасл. *luna* (< **lauksna*) ~ лат. *luna*; др.-прус. *luckis* 'полено, щепка' ~ прасл. *lučь* 'лучина' ~ лат. *lux, lumen* (< **luksmen*) 'свет, светильник'; др.-прус. *maldekis* 'дитя' ~ прасл. *moldeńsь* ~ венец. *molzonkeo*; др.-прус. *mealde* 'молния' ~ прасл. *mъldni* ~ уэльск. *mellt*; др.-прус. *pausto* 'дикий, пустой' ~ прасл. *pustь* ~ лат. *purus* (< **pausos*); др.-прус. *saltan* 'сало' ~ прасл. *sadlo* (< **saldom*) ~ ирл. *saill, sall* (< **saldi, *sald*); др.-прус. *scaytan* 'щит' ~ прасл. *ščitъ* ~ ирл. *sciath*, лат. *scutum*; др.-прус. *wanso* 'первая борода, пушок' ~ прасл. *vpsъ* ~ др.-ирл. *fes* (< **fans*); др.-прус. *wutris* 'кузнец' ~ прасл. *vatrъ* ~ лат. *uter*.

В двух случаях ориентация не определена. И лишь в одном случае пруско-славянская эксклюзивная изоглосса имеет иранскую языковую ориентацию: др.-прус. *kunti* 'оберегает' ~ прасл. *kъtati* ~ др.-иран. *kata* (< **kъta*).

Особенно показательны удивительные совпадения в местоименных формах: др.-прус. *pouson* 'нас', *poumas* 'нам' - *wans* 'вас' ~ прасл. *ny, vy, nastь, vasъ* ~ лат. *nōs, vōs*; др.-прус. *mennei* 'мне', *tebbe, tebbel* 'тебе', *sebbei* 'себе' ~ прасл. *mně, tebě, sebě* ~ др.-лат. *tibei, sibi*, оск. *sifei*, умбр. *tefe*; др.-прус. *mais* 'мой', *twais* 'твой', *swais* 'свой' прасл. *mojь, tvojtь, svojtь* ~ лат. *meus* (< **majos*).

В этих случаях под итальянским суперстратом просматривается именно западнобалтийский субстрат праславянского языка.

"ХРОНИКА ЗЕМЛИ ПРУССКОЙ" ПЕТРА ИЗ ДУСБУРГА В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

В.И. Матузова (Москва)

В ходе почти двухсотлетней истории изучения текста "Хроники земли Прусской" Петра из Дусбурга накоплена огромная международная историография, содержащая как источниковедческий анализ памятника, так и освещающая целый ряд проблем, вырастающих непосредственно из ее исторического содержания.

В то же время широкое использование фактического материала Хроники представителями разнообразных школ исторической науки еще не свидетельствует об ее изученности как памятника средневековой историографии. До настоящего времени нет исследования, посвященного Хронике как культурно-историческому явлению.

Задача прочтения "Хроники земли Прусской" Петра из Дусбурга в культурно-историческом контексте диктуется: 1) требованием строгого исторического подхода к изучению памятника в целом; 2) необходимостью выработать методику изучения фактического материала Хроники с целью возможно более точного установления его достоверности.

Памятник рассматривается, прежде всего, в широком общеевропейском культурно-историческом контексте, как явление, неразрывно связанное со средневековым религиозным сознанием, со средневековым богословием, а в плане философском соотносящееся с таким международным культурным явлением Средневековья, как готическое искусство.

В более узком культурно-историческом окружении Хроника рассматривается как памятник исторического и религиозного сознания, образующий составную часть культуры средневековой Германии и во многом обнаруживающий влияние немецкого мистицизма.

Наконец, Хроника предстает как памятник историографии Немецкого ордена в Пруссии со всеми особенностями, которые были обусловлены "колониальным", по мнению отдельных немецких историков, характером орденского государства в Пруссии и порожденной им культуры.

Взаимосвязь и взаимопереплетение этих трех культурно-исторических планов внутри Хроники в то же время подчинено повсеместно прослеживающейся тенденции к апологии немецкого "натиска на Восток", в Прибалтику, апологии Немецкого ордена как религиозно-политического образования и апологии методов ведения им военных действий в Пруссии.

Тенденциозность Хроники прослеживается не только в трактовке исторических событий, но и в том огромном материале, который содержится в главах, представляющих жанры житий, чудес и видений. Этот материал, зачастую отбрасывавшийся исследователями как заведомо недостоверный, является тем не менее мировоззренческой стороной памятника, запечатленной в конкретных художественных образах. Присутствие этого материала в составе Хроники определяется уровнем средневекового религиозного сознания и культуры.

Таким образом, нам представляется, что объективная оценка памятника в целом, равно как и оценка составляющих его частей, их роли и места в создании вырастающей из всего текста памятника картины завоевания Пруссии немецкими крестоносцами, может быть получена только при учете всех элементов культурно-исторического окружения, а принципы его изучения должны базироваться на синтезировании наблюдений и методик ряда гуманитарных дисциплин: истории, филологии, философии и искусствоведения.

ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БЕЛОРУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ О БАЛТОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТАХ

Ю.Ф.Мапкевич, Е.М.Романович, Е.И.Чеберук (Минск), Е.И.Гринавешкеня (Вильнюс)

1. Новейшие диалектные материалы, входящие в Лексический атлас белорусских народных говоров, работа над подготовкой которого завершается, открывают самые широкие возможности для всестороннего изучения балто-славянской языковой проблемы. Прежде всего они позволяют более доказательно судить о реальной языковой ситуации исследуемых говоров и более полно представить характеристику некоторых изоглосс и причины скопления их пучков в определенных диалектных ареалах (в особенности латеральных). Вместе с тем они дают возможность и более точно установить процесс, интенсивность, направление и тип иррадиации языковых контактов, протекавших в историческом прошлом как на определенных современных территориях белорусского (отчасти и других славянских), так и балтийских (преимущественно литовского) языков.

2. В предлагаемом докладе намечается изучить специфику распределения и дать интерпретацию изоглосс некоторых белорусских лексем (а также их вариантность, разнообразие семантики, способы словообразования и акцентуацию), которые по происхождению являются: а) балтийскими или возникшими под влиянием балтийских языков (в основном литовского), напр.: акснй, брунтакча, кульшя, куцняць, ла́мбй, скўмат, цёмбур и др.; б) славянскими, но имеют распространение в литовском языке или в его говорах, напр., вайлакi, каўка, рулі, ятрыць и др.; в) общими для славянских и балтийских языков, напр., сенаваць и др.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПЕСТРОТЕ В ЯЗЫКЕ И ФОЛЬКЛОРЕ

Л.Г.Невская (Москва)

Разнокоренные лексемы, манифестирующие в балто-славянском ареале идею пестроты, обнаруживают такой семантический параллелизм, что появляется возможность говорить о типологии пестроты и ее связях с иными концептами. Пестрота, понимаемая первоначально как сочетание черного и белого, является маркированным признаком, определяющим предмет как обладающий особыми свойствами. Вычленяется несколько тематических

сфер, в которых пестрота присутствует в качестве неотделимого и не-пременного атрибута. В первую очередь следует отметить пестроту рогатого скота, роль которого в сюжете мифа о поединке Громовержца с противником рассмотрена в работах В.В.Иванова и В.Н.Топорова и других исследователей этого мифа: см. лит. субстантивированные формы *margis, margė, margoji*, сущ. *marguika, margutė* и др., рус. пеструшка, арх. пеструнюшка как общее обозначение рогатого скота, с.-х. шарга 'пегий вол' и др. В системе примет пестрая корова противопоставляется белой и связывается с дождем: *jeigu balta karvė keltuvās namo veda, tai ryt bus graži diena, jeigu margumuota - paliūtė*. См. к этому

мотив дождя как разрешения и следствия поединка в основном мифе (возможно, в круг представлений, связанных, в конечном счете, с пестротой и мерцанием, следует включить и слепой дождь). В совокупных балто-славянских представлениях пестрое часто идентифицируется с черным: *šuni praušk neraušk - margs buvo, margs ir bus* ~ черного кобеля не отмоешь до бела. В балто-славянском фольклоре признаком пестроты, кроме лошади и рогатого скота, наделены овца, свинья и животные низшего ранга: кот и собака, а также курица (см. к этому роль рябой птицы в космологических представлениях). Именно эти же животные в указанной последовательности по степени уменьшения их ритуальной ценности участвуют в белорусском обряде обживания нового дома, восходящем к "строительной жертве".

Пестрота птицы - это тот признак, который относит ее в разряд классификаторов с негативным смыслом, независимо от того, содержится ли указание на пестроту в форме слова: *jei apie namus skraido margasparnis* зяблик - *degs namai*, или является орнитологической характеристикой, как, например, бекаса (птица с пестрой спинкой), лит. *perkūno oželis (ožiukas)* букв. 'чертов козлик', представляется при этом, что выбор второго элемента обусловлен не только "блещущим" голосом бекаса, но и ритуальной нечистотой козла.

Пестрота змеи закреплена в многочисленных ее названиях, в основе внутренней формы которых лежит именно этот мотивационный признак: лит. *margulė* 'маленькая ядовитая змея', *marginė, marguolė* 'тащюка'. Указывалось на возможность связать с этими названиями змей также имена мифологической Змеи, как Марина, Мария, Марей, Мархва и под.

Противопоставление змеи и птицы как классификаторов соответственно нижнего и верхнего миров может сниматься, в частности, в образе птицы подземельной:

По утрышку по раннему
Налетела птичка вещая,
Птичка вещь подземельная.
Она крылышки расправила,
По окошечку ударила;

ср. реально тот же текст на литовском языке:

Oi, tai atléké raibas sakalėlis,
 Oi, jis padudeno in scikžo langelį,
 Oi, jis pabudžino mūs' sesurelas
 Iš ramaus miegelio.

Употребление в одинаковой функции и одинаковой позиции сочетаний raibas sakalėlis и птица подземельная приводит к объединению в совокупной балто-славянской традиции представлений о нижнем мире мрака и тьмы и пестрой птице как вестнике этого мира, вестнике смерти.

Пестрота рыбн, в народном сознании часто ассоциирующейся со змеей (см., в частности, с.-х. змижўльница 'минога'), находит отражение в названиях типа пескарь и, возможно, мариха, марляна (если последние этимологически связать с лит. margas) и в постоянном атрибуте рыбн - пестрая; см. к этому фрагмент литовского плача, в котором отношения родства переданы через "ихтиологический код": Ši margoji lydekėlė būt man buvus motinėle... Šis margasis ežeriukas būt buvusis man broliukas.

Признак пестроты лежит в основе внутренней формы одного из литовских названий радуги - margūnas, по мифологическим представлениям ассоциирующейся со змеей, соединяющей небо и землю (ср. к этому полесск. смок, цмок 'радуга'). Другое литовское название радуги - juosta букв. 'пояс' относит к комплексу представлений, связанных с мировым деревом, а marga juosta букв. 'пестротканный пояс' позволяет объединить с идеей пестроты круг иных семантических представлений, имеющих стойкие мифологические ассоциации с нижним миром), скотом, змеем, слепотой - ткачество: см. такие названия домотканого полотна как margenis, margienis, margylai, marginė, marginys и под., рус. пестрядь, с.-х. шаренина и под.

Через одно из названий пестрого полотна загадывается книга: marginyas daug tiesos pasakys; с пестрой коровой ассоциируется в загадке письмо: marga karvė per visą svieta bėga. Мотив "пестрой", "скорострелой грамотки" как послания "родителям" на тот свет входит в совокупный балто-славянский текст погребальной причеты: Aš tau parašūčia marga gramatėlę savo graudžiomis ašarėlemis iki teveliui, iki motinėlei ~ Глупо сделала кручинная головушка, Не писала скорострелой я грамотки... Вы на стретушку бы шли да ведь сретались, Ты бы отдал скорострелую грамотку. Семантическая тенденция к объединению представлений о письме и пестроте многообразно проявляется как непосредственно в лексике (как следствие этимологической идентификации писать и пестрый), так и в обрядовых текстах, в равной мере касаясь разнокоренных слов с этими значениями (лит. margutis, рус. писанка, красонка 'пасхальное яйцо'). Синонимичны др.-рус. пѣсати и под. 'расписывать, украшать' и пѣстрити 'придавать разнообразие, украшать'; в лит. rašyti и с.-х. шарати совмещены значения 'расписывать, украшать' и 'писать'.

И, наконец, следует также указать на связь пестроты с хитростью,

ложью: не прельщай мене козньми пестрых словес (Срезневский, П, 1778), ср. с.-х. шарен 'лживый, неискренний, фальшивый, ненадежный'.

Итак, пестрота оказывается маркированным признаком, входящим в состав элементарных сюжетов, соотносящихся с фавулой основного мифа, тяготея к образу противника Громовержца и тем самым соотносясь с мотивом потустороннего/гепр.подземного мира мрака, ночи, слепоты, смерти. Таким образом, частный случай этимологической соотнесенности лит. margas и рус. мрак в пределах, по крайней мере, балто-славянской культурной и языковой традиции получает подтверждение в детерминирующих представлениях более высокого ранга.

К СТРУКТУРЕ И СЛАВЯНСКИМ СВЯЗЯМ ЯТВЯЖСКОЙ ОЙКОНИМИИ

А.П.Непокупный (Киев)

0. Ограниченный характер источников по ятвяжской ономастике определяет необходимость все нового и нового обращения к ним. При этом особую роль приобретает тот летописный контекст, в котором выступают названия, в частности географические. Не только характер терминов, сопровождающих местные наименования, но нередко и сам порядок расположения последних в тексте оказываются значимыми для интерпретации названий ятвяжских поселений. Не менее важными представляются также и своего рода "контрольные" свидетельства позднейших памятников.

Рассматриваются несколько ятвяжских ойконимов из описаний двух походов Даниила Галицкого середины 50-х годов XIII ст.

1. Домъ Стекинтовъ. Летопись трижды упоминает это название (Стѣкин-товъ; также в дому Стѣкинтовѣ). Исследователи уже отмечали, что, видимо, это было значительное укрепленное поселение или даже город на южной окраине ятвяжских земель, dom-gród, по выражению А.Каминьского. Характерно, что при перечислении мест похода домъ Стекинтовъ назван между безымянными "градами", с одной стороны, и "селом Корковичи", с другой. В подтверждение возможности значения домъ 'город' ср. в орденско-польском документе 1466 г. Aldehaus alias Starigród. Устойчивый характер ойконимического сочетания домъ Стекинтовъ позволяет предположить, что в данном случае мог иметь место перевод ятвяжской композиты типа *Stekint(a)-pile. Ср. мнение К.Буги о происхождении ойконима Szurpily (Сувальский пов. ПНР) из *Šur(pa)-pile 'замок князя Шурпы'. Показательно, что в одном контексте с предполагаемым переводом ятвяжского словосложения сочетанием домъ Стекинтовъ летописец избегает употребления композиты *Райградъ: градъ бывши на неи преже именемъ Раи (ИП, 828). Окончательное лингвистическое решение вопроса о названии домъ Стекинтовъ имело бы определенное значение для дальнейших студий по истории и культуре ятвягов.

2. Правица и Таисевиче. В исторической географии утвердилось мнение, что продолжением ятвяжской "веси" Привища (во вси рекомѣхъ Привища, конѣцъ вси рекомѣхъ Привища) является с. Prawdyszki (в р-не

г. Элка ПНР). Вместе с тем уже и в тексте самой летописи встречается аналогия этой будущей замены: ойконимом, называемым после Привиш, является Правища (ставши же на Правищихъ на ночь...). Последнюю форму обычно отождествляют с первой. Итак, если Привища → Правища в летописи, а Привища → Prawdziški в исторической перспективе, то существовал и переход Правища → Prawdziški? Такая постановка вопроса, как кажется, находит поддержку еще и с другой стороны: после ночлега на Правищихъ войско Даниила наутре же поидоша... заштоа Таисевиче, а еще К.Бута указал на связь этого ойконима с формами типа лит. taisyti 'исправлять', в одном этимологическом ряду с которым стоят teisus 'правый', tiesa 'правда' и т.д.

Следовательно, сосуществующая с ойконимом Правища бесспорно балтийская форма Таисевиче как носительница той же самой семемы 'правый' поддерживает версию о неслучайном характере рассматриваемого названия и укрепляет уверенность в том, что переход Правища → Prawdziški действительно произошел.

В собственно лингвистическом плане, видимо, следует думать о самостоятельном характере ойконимической формы Правища (на Правищихъ). Иное дело ее функционирование, в котором могли осуществиться две возможности: 1) ойконим Правища выступал как славянский вариант балтийского в своей основе географического названия Привища и 2) Правища называли иной, чем Привища, населенный пункт, и только их географическая близость друг к другу привела к тому, что Prawdziški, первоначально относившееся только к Правищам, стали обозначать также и Привища. И в том, и в другом случае высказанные замечания продолжают дискуссию об исторической географии ятвягов.

ПАЛЕОБАЛКАНО-БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В.П.Нерознак (Москва)

Проблема отношений балтийских и славянских языков с палеобалканским языковым миром привлекает в последнее время пристальное внимание в индоевропейском языкознании. Целый ряд аспектов сложного комплекса вопросов балтийского и славянского топонимизма и глоттогенеза находит разъяснение лишь при обращении к данным палеобалканских языков. Современные исследования в области палеобалканистики представляют весьма ценный материал для углубления наших знаний о древних этнолингвистических интерпретациях балтов и славян с палеобалканским этноязыковым комплексом (см. напр. Addenda к III тому словаря В.Н.Топорова "Прусский язык" и работы Вяч.Вс.Иванова, где учтены наши исследования по палеобалканистике, в т.ч. исследования автора и И.М.Дьяконова по фригийскому языку).

Как продолжатель палеобалканских языков большую роль в установлении древних палеобалкано-балто-славянских языковых связей призван сыграть албанский язык, обнаруживающий ряд показательных соответствий с

балтийскими и славянскими языками в области древней лексики. Ниже устанавливается серия палео-балкано(-албано)-балто-славянских лексических встреч, свидетельствующих об интенсивности языкового взаимодействия палеобалканского и балтославянского ареалов в древности.

Местоимение: лит. *kas* 'кто', лтш. *kas* 'кто, что', ст.-слав. *къто* < *къ+то*, фриг. *kos* 'кто', мессап. *kos* 'кто', алб. *kush* 'кто' с дальнейшими и.-е. параллелями; ст.-сл. *Съ, Си, Се, Семоу*, фриг. *semoun* 'этому' - дат.п. ед.ч., лит. *šis* 'этот', др.-прусс. *schis*.

Числительное (словообразование): др.-прусс. *kettwirts*, ср. лит. *ketviřtas*, лтш. *cetartais* 'четвертый', алб. *kātērtē* 'то же', ст.-слав. *ЧЕТВЕРТЬ*.

Прилагательное: лит. *mārgas* 'серый', алб. *murgash* 'темный, темно-серый', i *murtē* 'серый, темный', *murro-ja* 'темный, серый (о животных)', ср. русск. *мурый, смурый* 'темный, серый, пасмурный'; лит. *ligūstas*, алб. i *ligshtë* 'слабый', *ligē* 'болезнь, зло', *ligēshti* 'слабое, болезненное состояние', здесь видим наряду с общностью семантики один и тот же словообразовательный формант *-st/-sht-*.

Существительное: помимо уже известных ср.: лтш. *dels* 'сын', алб. *djalē* 'мальчик', *dal, del* 'выходить, вырастать', 'выступаться из скорлупы'; др.-прусс. *girmis* (с конъектурой В.Н.Топорова **kirmis*), лит. *kirmis*, лтш. *cirmis* 'червь', алб. *krīm-b, krīmbi* 'червь' и в другой огласовке *kērmia* 'древесный червь'; лтш. *kakls* 'шея, горло', палеобалк. (Гесикий) *κόκκιος* τὸ ζῷον. ἢ τὸ βρῦον. καὶ ἡ βοτάνη. καὶ ὁ πρὸ βολεός..., καὶ λόφος...; алб. *kokē* 'голова' и *kokliçë, kokliça* (< **kokel*) 'вершина горы'.

Значительный интерес представляет изосемия у ряда оронимических терминов: 1) др.-прусс. *kalmus* 'палка, трость, пень', фрак. *οκάλη* 'короткий меч', алб. *shkallmë* 'меч' и далее лит. *skala* 'лучина, дранка', алб. *çaj* < **skal-* 'раскалывать, рассекать, рубить дерево', *a-shkël* 'щепка, лучина', сюда же слав. *скала* < и.-е. **skel-* 'раскалывать'; 2) русск. *скелать* 'расщеплять', русск. *щепа* < праслав. **skoip-*, греч. *οκοῖλος* 'главная балка', *οκόλων* 'палка', а также у Гесикия: *οκόπελος* ὀφέλος τόπος, ἢ πέτρα, ἢ ἀκρόρεμα... οἱ δὲ ἀκρόπολις; ср. еще алб. *thep* 'скала' < **skeip-*; 3) др.-прусс. **karp-* (Топоров ПЯ III 234), алб. *karpë* 'скала', *καρπάτης* βρος, др.-макед. *κάρπεα* βρχεσις *Καμεδονική*, алб. *krep, shkrep* 'скала, утес' и *shkarpe* 'лучина', ср. аромунск. *șcarpă* 'rocher', укр. географич. термин *карпа* 'скала' (Марусенко, МСУГА).

Глагол: лтш. *degt* 'гореть', алб. *djeg* 'сжигать, печь'; лтш. *klaigat* 'кричать', *klaigas* 'крики', алб. *qaj*, диалект. *klaj* 'плакать'; лит. *klausyti* 'слушать', др.-прусс. *klausiton*, лтш. *klausit* то же, Imperat. *klau* 'слушай! чу!', мессапск. *klaohi, klohi* 'услышь', алб. *quhem, kluhem* 'звать'.

Помимо отмеченных здесь известен целый ряд других рецессивных (межъязыковых и межареальных) корреспонденций славянских, балтийских

и палеобалканских языков (см. работы В.Н.Топорова, Вяч.Вс.Иванова, В.П.Нерознака); весьма существенны связи названных языковых ареалов и в сфере ономастики (см. работы И.Дуриданова и В.Н.Топорова). Вместе с тем следует признать, что поиски следов палеобалканской топонимии к востоку от Карпат не представляются перспективными, поскольку они не согласуются с новыми данными о топонимии иллирийцев (это стало ясным после работ Г.Кронассера и Р.Катичича). В связи с этим "иллироидные" топонимы на восточнославянской территории, а также часть топонимов, толкуемых как балтийский слой на востоке и северо-востоке Восточной Славии могут рассматриваться как общее наследие "древнеевропейского" периода развития позднеиндоевропейской языковой общности.

Системное комплексное исследование ареальных, генетических и историко-культурных аспектов взаимодействия балтийских и славянских языков с палеобалканскими языками будет содействовать решению сложных историко-лингвистических проблем.

ОДИН ИЗ ТИПОВ НАЗВАНИЙ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В СЕВЕРНОКАВКАЗСКИХ И ИНДООЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

С.Л.Николаев (Москва)

В севернокавказских языках для обозначения хищных млекопитающих (также для гризунов, схожих с мелкими хищниками, и хищных птиц) нередко используются сложные слова, отдельные компоненты которых исторически также являются названиями подобных животных; в этих образованиях этимологические значения компонентов не обязательно близки к значению сложного слова, ими образованного, причем часто вовсе нельзя установить точное первоначальное значение данного компонента. Вот несколько примеров: (1) ПАТ *багаза 'шакал?' (< *бага = база) (абхаз. а-бгидз 'название какого-то хищного зверя', абаз. багаза), где первый комп. сложения идентичен ПАА *бага 'лиса', восходящего к ПСК *б^врг^в (~ п¹, к⁴) (чеч. ц'ок' = берг 'барс', см. (2), дрг. дугели=бут 'барсук', см. (3)); 2-й комп. восходит к ПСК *б^вх^врц' 'волк?' (чеч. борз, бцб. бгорц', ав. бац', лак. барц' и др.). - (2) Чеч. ц'ок'=берг 'барс': сложение ПЧИ *ц'ок' 'барс' (чеч., инг. ц'ок' восход. к ПНД *ц'а^влк^в (еще ав. ц'ирк' 'рысь', лак. ц'иник' 'тигр, барс') и =берг (см. (1)). (3) Дрг. дугели=бут 'барсук': 1-й комп. восходит к ПНД *ду^влк^в (~ д¹) (еще чеч. динга-д 'ласка', ав. дергелу 'летучая мышь', лак. талак 'куница'); относительно 1-го комп. см. (1) - (4) Ав. ган-гур' 'гиена': 1-й комп. восходит к ПД *гам^в (~ г⁴) (еще ПЛ *гам^в 'волк'); =гур исторически идентично ав. диал. г^вед 'ястреб-перепелятник', чеч. кура 'ястреб', дрг. гурда 'лисица' и др. (ПСК *к^верт^в). - (5) Гуиз. гуд-бац 'ястреб' и ПЦр *курт-ма^в 'рысь' (акуш. гурд-на^вр, диал. курт-миц): 1-й комп. восходит к ПСК *к^верт^в/, см. (4); 2-й комп. происходит из ПД *у^ва^влт^во. - (6) ПА *ханда-ри^ву 'ласка' (тинд. хандарей'у, год. хандирук'и и т.д.), ав.

гондо́й, инх. ма́ду́ка происходят из сложения ПД * г_ома_тθ и ПСК * рийт_θ (~ н²) (чеч. да́ха 'мышь', тинд. ре́й'у 'ласка', убых. дьтвн 'мышь'). В свою очередь ПД * г_ома_тθ преобразование ПНД * та_оа_там²θ (чеч. да́гам, вед. дга́гам 'барсук'), являющегося старым сложением неясного * та_оа и * та_мθ (~ н⁴), см. (4). - В свете открытых в последнее время интенсивных древних контактов между и.-е. и с.-к. языками интересным представляется параллелизм внутренней формы приведенных выше и под. с.-к. образований с некоторыми и.-е., напр. слав. * volko-dlakъ 'оборотень' (русс. диал. волко́длак, волко́лак, с.-хорв. вуко́длак, чеш. vlkodlak и др.), где второй компонент идентичен балт. * tlakis 'медведь'. Балто-слав. праформа была * dlak(i)as 'медведь' с афлаутным * dl (сравнение со слав. * tlaka 'шкура' некорректно ввиду чеш. vlkodlak при tlaky 'волосы'). Сходное образование представляет собой герм. * bera-wulfaz (> * wera-wulfaz) 'оборотень' (собств. 'медведь+волк'), греч. λεό-πάρδος (где -πάρδος в конечном счете восходит к ПСК * о_бх_эрц_θ, см. (1)). Балто-слав. * dlak(i)as может быть древним заимствованием из с.-к. языков., ср. * тулук_θ (~ д¹), ср. (3). Также не исключена связь и.-е. * ulkaos / * ulpos с с.-к. * уа⁵л_то_θ, см. (5).

Принятые сокращения

абаз - абазинский, абх. - абхазский, ав. - аварский, акуш. - акушинский, общ. - сабийский, вед. - веденыйский, герм. - (пра)германский, год. - годоберинский, греч. - древнегреческий, гуиз. - гуизинский, дрг. - даргинский (акушинский), и.-е. - индоевропейский, инт. - ингушский, инх. - инхокавинский, лак. - лакский, ПА - праандийский, ПАА - праабхазоадыгский, ПАТ - праабхазотапантский, ПД - прадагеставский, ПДр - прадагестинский, ПНД - пранахскодагестанский, ПСК - прасеверокавказский, ПЧИ - прачечено-ингушский, русс. - русский, с.-хорв. - сербскохорватский, слав. - (пра)славянский, тинд. - тиндинский, чеч. - чеченский, чеш. - чешский.

"DESCRIPTIO TERRARUM" - НОВООТКРЫТЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БАЛТОВ НАЧАЛА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIII в.

Е.Охманский (Познань)

В докладе рассматриваются следующие вопросы:

1. Общие сведения об источнике.
2. Время возникновения источника.
3. Вопрос об авторстве источника.
4. Сведения о балтах, содержащиеся в источнике.

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ МОДИФИКАЦИИ ПАРАДИГМ ИМЕНИ И МЕСТОИМЕНИЯ В БАЛТИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

А. Росинас (Вильнюс)

1.0. Детальное изучение данных диалектов и письменных памятников балтийских языков позволяет установить общие закономерности модификации парадигм имени и местоимения, которая является или прямым следствием фонологических изменений в конце слова, или результатом последующего действия фактора аналогии.

2.1. В латышском языке после фонологических изменений в конце слова как в парадигмах единственного числа $o-$, $(i)ā-$ и $ē-$ основных имен и родовых местоимений, так в парадигмах i_2- , u_2- , K_2- основных имен (K = консонантный) произошла нейтрализация аккузатива и инструментал. Эта нейтрализация открыла путь действию фактора аналогии. На более позднем этапе развития латышского языка по новой модели аккузатива и инструментал последовала дальнейшая модификация парадигм: 1) в парадигмах i_1- , u_1- и K_1- основных имен были упразднены формы инструментал с $-mi$; 2) в парадигме i_o- основных субстантивов вместо старого инструментал с $*-u$ был введен новый с окончанием $-i$; 3) в парадигмах i_o- основных местоимений формы старого аккузатива с $*-ī$ или $*-i$ были заменены общими формами $iā-$ основного аккузатива и инструментал и i_o- основного инструментал $-uo$ или $-u$; 4) в парадигмах личных местоимений ед.ч. многих латышских говоров произошла нейтрализация аккузатива и инструментал, которая в некоторых говорах привела к полному упразднению инструментал с $-mi$.

На существование инструментал с $-mi$ в парадигмах i_1- , u_1 и K_1 основных субстантивов указывают реликты, ср. диалектное наречие *virsum* 'на поверхности', выступающую в разных функциях форму инструментал *patim* 'самим' и формы инструментал личных местоимений *manim*, *tevim*, *sevim*, которые исконно были образованы по модели инструментал i_1 -основных субстантивов.

2.2. Нейтрализация аккузатива и инструментал личных местоимений ед.ч. по аналогии переносится и на парадигмы множественного числа. Аналогичное явление наблюдается в парадигмах субстантивов и родовых местоимений некоторых восточнолатышских говоров, в которых по аналогии с единственным числом, функции инструментал выполняет аккузатив множественного числа, ср.: *ar šitušs osorūs* 'с этими слезами'.

3.0. Выявленные закономерности модификации парадигм имени и местоимения латышского языка позволяют более убедительно объяснить эволюцию парадигм имени и местоимения прусского языка.

3.1. Формы инструментал сохранились в системе местоимений, как в более консервативной системе, ср.: *sēnku* 'damit' и др., *stuilgimi* 'bis das', *sen māim* (< *manimi*) 'mit mir', *sen swaieis* 'со своими'.

3.2. Формы с $-an$ (= $-a$), которые формально совпадают с формами ак-

кузатива, нельзя считать истинными аккузативами, выполняющими функцию инструменталю, ср.: инстр. (sen wird)-an 'со словом', (sen madl)-an 'с молитвой' и акк. (wird)-an 'слово', (madl)-an 'молитву'.

Сохранение инструменталю в системе местоимений, а также типологические параллели с другими балтийскими и индоевропейскими языками, в которых предлоги со значением 'с' управляют не аккузативом, а инструментом, позволяют предположить, что в прусском языке до фонологических изменений в конце слова существовали специфические формы аккузатива и инструменталю: о- основные - акк. *(vird)-an, инстр. *(vird)-ā; ā- основные - акк. *(madl)-ān, инстр. *(madl)-ān. После фонологических изменений в безударном конце слова *-ō > -ā, а *-an, *-ān и *-ān > -ā. По аналогии с ā-основным аккузативом-инструментом (madl)-ā и о-основным аккузативом (vird)-ā о-основной инструменталь *(vird)-ā был заменен на (vird)-ā.

3.3. Совпадение о-, (i)ā- и ē- основного аккузатива и инструменталю вызвало аналогичные изменения как в парадигмах ед.ч. других основ, так и в парадигмах мн.ч. всех основ имени.

По аналогии с единственным числом вместо древних форм инструменталю в парадигмах множественного числа стали употребляться формы аккузатива мн.ч., ср.: sen wirdans 'mit wortten', sen rānkans 'mit henden' и формы старого инструменталю постепенно вышли из употребления.

3.4. Внутренней мотивированностью появления датива в функции инструменталю следует считать нейтрализацию датива и инструменталю в парадигмах ед.ч. о- основных окситонных имен, а внешней мотивированностью - влияние немецкого языка.

К БАЛТО-СЛАВЯНСКИМ СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАЛЛЕЛЯМ (НАЗВАНИЯ РАДУГИ)

А.Б.Страхов (Москва)

Балто-славянские семасиологические параллели в области называния радуги можно разделить на две группы. Первую группу составляют случаи, которые лишь условно могут рассматриваться в ряду балто-славянских соответствий, так как ареал их распространения значительно шире.

Яркий пример - названия радуги с исходным значением 'пояс' (славяне, балты, саамы, немцы, французы, греки, баски, африканские народы). Радуга представляется им поясом неба или божества, часто женского (баба, Богородица, самовила, Лаума, св.Елена и т.д.), небо же выступает порою как "одежда". Пояс - важная часть одежды, средоточие плодородия и силы. К нему по сакральной синекдохе может быть сведен весь покров. В болгарской легенде Богородица своей одеждой закрывает город от гнева св. Ильи; в других вариантах она поясом обвязывает грешников, чтобы вывести их из пекла. Опоясывание локусов, людей и церквей в качестве оберега имело место в Сербии. В сербских заклинаниях от градобития поле покрывается пеленками семерых детей, рожденных семилетней девоч-

кой. Мотив покрывания одеждой характерен для средиземноморских обрядов усыновления, принятия в род.

В этом плане народно-поэтическое соотнесение лит. *dangà, daĩgalas* 'покров', 'одежда', *dangús* 'небо' и слав. **dąga* 'радуга' получает дополнительный интерес (ср. болг. *обѣино плѣтно, обѣина рѣза, тъканица* 'радуга'). Не исключено, что в слав. **dąga* 'дуга, изгиб; радуга' проявляется (ср. ст.-чеш. *duha* 'синева') незасвидетельствованное слав. **dąg-* 'небо', 'покров' (ср. лит. *deĩgti* 'покрывать' и слав. *dęga* 'ремень, пояс; плетъ; сила').

В эту группу параллелей входят также лит. диал. *laĩmės šlúota* 'радуга', букв. 'метла лаумы', *diėvo šlúota* 'радуга', букв. 'божья метла' и чешск. силезск. и моравск. *boží metla* 'радуга' (ср. полесск. *мен'елуха* 'радуга'); ареал представления о радуге как о "метле" может быть расширен. Ср. франц. заклинание, произносимое в целях устранения радуги: "*Arc-en-ciel | prends ta source* (вар.: *ta pelle*) / *prends ton balai | coupe toi*" (Eure-de-Loir). Метла - атрибут очистительных обрядов и демонологических персонажей.

Вторую группу образуют названия, не имеющие соответствий в других ареалах и потому особо важные для решения вопросов балто-славянского взаимодействия. Н.И.Толстым (1976) на основании польск. силез. *punga* 'радуга', словен. *róga* и с.-х. кайкавск. *puga* 'то же' было реконструировано слав. **pąga* и указано на родство этой лексемы с укр. *пуга* 'кнут' (ср. блр. *пуга* 'кнут'). Аналогию этим славянским названиям радуги с исходным значением 'кнут' можно видеть в литовских обозначениях радуги: *diėvo rýkštė* 'божья розга', *orarykštė* 'воздушная, небесная розга', *dangaūs rýkštė* 'небесная розга', *malónės rykštė* 'милостивая розга'. *Пуга* 'кнут' (с эпитетами *драцяная, житяная*) - атрибут славянского громовержца Ильи в белорусских и украинских колядках (*Дзе пугаю махне - Там жыта расце. А дзе не махае - Там жыта ўлягае. Добрушскі р-н*). В образах небесных розги или кнута, занесенных над землей, отразились обычаи обрядовых флагелляций, совершаемых над людьми и скотом для активизации их производительной мощи. Не исключено, что кашуб. *zdęgowac* 'отхлестать розгами' → 'забеременеть', *dęgas*, *d'ingysė* 'обычай хлестания розгами женщин и девушек молодыми мужчинами в пасхальный понедельник' и проч., в конечном счете восходящие к слав. **dęg-* 'пояс; плетъ; сила' (см. выше) проясняют исходное значение лит. диал. *diğnà* 'радуга; круг вокруг луны или солнца'.

К ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПНИМИИ ЛИТОВСКО-СЛАВЯНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНВЕНТАРЕЙ XVIII в.)

Т.М.Судник (Москва)

Инвентари Бортянского староства ("Inwentarz starostwa Borciałskiego w powiecie Lidzkim sytuowanego ...") 1765 г., Центральная научная б-ка в Вильнюсе, ІК-30, лл. 99-116; "Aktykasya

Inwentarz Starostwu Borciańskiemu służącego... " 1790 г., ЦГИА БССР, Ф 1767, оп. 1, л. 25, лл. 104-136об.) включают списки крестьян-землевладельцев из 22 деревень близ Радуня и Турейска (ныне Вороновский и Щучинский р-ны Гродненской обл.). Сведения этих источников представляют тем больший интерес, что они относятся к административной единице, возникновение которой связано с эмиграцией из прусских земель Скаловия и Барты.

Антропонимический материал памятников (около 500 фамилий, 67 имен) рассматривается в плане восстановления картины этноязыковых контактов. Антропометрическая формула имя + фамилия (**Jan Borciewicz, Jakub Awizen, Andrzej Zomoysin** и т.д.) допускает использование гипокористических форм имени, словообразовательный и фонетический облик которых позволяет сделать заключение о языковой принадлежности носителя имени (ср.: **Maciejewicz Jurgi** и т.п.). Показательны примеры параллельного использования литовских и славянских патронимических суффиксов (ср.: **Maciejewicz - Maciejunas** и т.п.). В ряде случаев исконная форма может быть восстановлена на основании антропонимической преемственности (соотнесением с современными фамилиями тех же мест — напр., **Osewicz - совр. пеляск. Ācas**).

Данные инвентарей позволяют проследить ситуацию литовско-белорусско-польского трехязычия с преобладанием литовского элемента.

ТРИ ОБРЯДА: ЛИТОВСК. KALĀDĖ, УКРАИНСК. КОЛОДІЙ, СЕРБСК. БАДНЯК

Н.И.Толстой (Москва)

I. Обряд, известный в Литве почти повсеместно под названием **atviškinti kaladę** 'притащить колоду' или **atvežti silkę** 'привезти сеledку', исполнялся в так называемый Пепельный день, в Пепельную среду (**Pele-nija**), в первый день после Заговен в самом начале Великого поста. Накануне вечером кто-либо из домашних приволакивал в дом колоду, большой кусок бревна (или камень), называемый **kaladė** 'колода' или **silkė** 'сеledка' и оставлял в доме на ночь до утра. Утром тот же, кто приволакивал колоду, приходил и выволакивал ее, за что хозяйка угощала его пивом или водкой. Иногда в дом приволакивали несколько колод и утром, когда их выволакивали, устраивалось большое угощение (**Dundulienė** ЛРБ 1972, р. 119). В древности литовцы, празднуя Новый год, во-локли по дворам, били, и под сопровождение ударов деревянного музыкального инструмента **tabalas'a** сжигали колоду (бревно, толстую палку) — **blukas** (**Daukantas** 1976, р. 547, Волжс 1982, с. 125). П.Эйнгорн в XVII в. записал, что латгали в ночь на Рождество и накануне "справляют бесстыдное празднество, с прожорством, пьянством, танцами, пляской и криками, ходя от одного дома к другому с таким ужасным кликаньем, что канун Рождества у них не иначе называется, как танцевальный вечер... Тот же вечер называется также **Bluckwacker**, т.е. колодный вечер, ибо в это время они развозят колоду с большим криком, а после

сжигают, в чем они имеют свою особенную радость (Польтер 1890, 97).

П. Под таким же названием Волочити колодку, Колодий, и также на Масленицу в канун поста исполнялся обряд у украинцев (отсюда у них и частое название Масленицы – Колодка, Колодий), имавший, однако, большую продолжительность и большее локальное разнообразие, чем у литовцев и латышей. На Черниговщине (бывш. Константиновск. уезд) и Подольщине (Браилов) зафиксированы архаические формы обряда, знаменующие рождение и смерть колодки. Понедельник – пеленание холстом колодки (колодка на ночь оставляется в корчме), вторник – крещение, среда – покрестбины, четверг – смерть, пятница – похороны, воскресенье – воложение (черниговск. Чубинский ТЭСЭ, III 1872, с. 7–8). Или: Колодий рождается в понедельник, над ним "молятся", во вторник его крестят, притом украшают как куклу лентами и цветочками, в четверг его прячут, бросают в угол, а затем сжигают как простое полено, в пятницу же по нему плачут и голосят как по мертвому, а в субботу происходит общее веселье (Архив киевск. ИИЭ, ф. I, д. 285, Соколова 1979, с. 58). Участницы украинского обряда колодка – женщины. Во многих зонах женщины привязывали колодку к ногам неженатых мужчин, но при этом описанные выше действия, как правило, отсутствовали. Привязывание колодки, или какого-либо другого предмета называемого колодкой (ленты и т.п.) неженатым парням (реже девушкам) или приношение им колодки на Масленицу известно и в южновеликорусских зонах (калужск., курск), в Белоруссии, Польше, Словакии, а волочение колодки неженатыми парнями – в Словении и Хорватии.

III. Относительно недавно (Д.Ђорђевић 1958) в Сербии, в зоне Лесковацкой Моравы зафиксирован обычай причащать в Сочельник бадняк, т.е. просверливать на двух концах рождественского полена, длиной до 1 метра, дырочки и лить в них масло, вино и мед. Вслед за этим бадняк, как новорожденного младенца, пеленают в чистую рубаху хозяина дома (или мальчика, самого младшего представителя мужского пола). В селе Дрводеля (Лесковацкая Моравы) бадняк обвязывают красной шерстяной ниткой и украшают базиликом. Пример этот для славянской зоны Балкан почти уникален, так же как уникально, что в селе Дрводеля бадняк срубают женщины. Во всех других местах это – мужское дело. Пеленание ребенка в отцовскую рубаху – неотъемлемая часть родинного обряда во многих славянских зонах, восточных, южных и западных.

Архаические обряды украинской (черниговск. и подольск.) колодки и сербского бадняка показывают, что с колодкой, а отчасти и с бадняком, переживается и воспроизводится их житие, подобно тому как в некоторых сербских масленичных играх изображается житие конопли (ср. шумадийск. Коноплярица). Конопля или лен в песнях, хороводах, играх оказывается главным героем действия во многих славянских (и в румынской) традициях (реже у македонцев, черногорцев, боснийцев – перец, у других славян также – хлеб) (см. Цивьян 1977, Раденкович 1981). Знаменательно,

что у литовцев в ту же Пепельную среду главным героем оказывается "Конопляный" (*Kanapinskis, Kanapėskas, Kanapinis*), он выступает один или в паре со своим противником "Сальным" (*Lašininiskis, Lašinskėskas, Lašininis*). Конопляный борется сеledками и конопляным маслом. Всегда побеждает Конопляный. А соломенное чучело Сального, если оно делалось, как русскую Масленицу, вывозили за деревню и сжигали. Конопляного же торжественно ввозили в деревню и обливали водой, чтобы летом были дожди. Здесь, если и есть некоторая замена старых представлений новыми под влиянием католической церкви (мнение П.Дундулене), то эта замена не очень радикальная и старый языческий слой прослеживается во всем обряде четко.

Естественно, что все обряды с поленом (рождественским и масленичным) следует рассматривать на общеевропейском фоне, т.к. они известны германским, романским и другим народам. Однако и из трех групп приведенных примеров видна связь этих обрядов и во временном отношении (начало года, начало поста; ср. старое новогодие 1-го марта), и в отношении ночного бдения над бадняком (в одну ночь — рождение и смерть), оставление на ночь в доме (корчме) литовск. *kalādė* и укр. колодки, и в отношении их сжигания. Возможность внесения нескольких *kalādė* сопоставима с внесением более чем одного бадняка (по числу мужчин в доме), внесение *kalādė* кем-то из домашних с южнoславянским и карпатским "полазником", но самой любопытной и важной для дальнейших исследований параллелью является "рождение" и пеленание бадняка и колодки. Этот факт ставит под серьезное сомнение утверждение об исключительно балканской (или средиземноморской, европейской и т.п.), неславянской основе обряда "бадняк" (аналогичный вывод можно сделать по отношению к обрядам "додоле-прпоруше" и "полазник"). Упомянутые обряды имеют и кавказские параллели.

Для реконструкции прасостояния и семантики важны детали обряда, и не просто детали, а сумма деталей. К сожалению, при описаниях они часто опускаются как "несущественные" элементы обряда. Так и в нашем случае остаются неясными вопросы породы дерева для колодки, число и характер персонажей, характер вербальных текстов (оплакивания и др.) и т.п.

Рождение и крещение колодки (затем и сжигание), так же как и пеленание бадняка, если литовск (латышск.) *kalādė* и *blukas* с ними мифологически одного ряда, как будто проливает свет на обсуждавшийся Даукантасом, Греймасом и Велюсом спорный вопрос о борьбе между старым и новым, об эпизодах смерти и воскресения и т.п., ибо глубинный смысл рассматриваемых обрядов и их сущность можно воспринимать как мифологически концентрированные, "спрессованные" жития растения (дерева). Помимо всего прочего, само волочение в свете данных других обрядов не есть поругание, а вызывание изобилия (не исключено, что черниговское волочение колодки в воскресение — ее "воскресение").

При исследовании восточных границ балт. гидронимии дают себя знать две значительные лакуны: на северо-западе от Москвы между верховьями Зап. Двины и бассейном Волги и на юго-западе и юге от Москвы в Поочье. Некоторые бесспорные балтизмы из этих мест приводились раньше, но они определялись "на глазок", без сплошного обследования соответствующего ареала и, главное, нередко сопровождались значительным количеством недостоверных балтизмов или примеров, вообще не являющихся балтизмами (сев.-зап. ареал). Составление списка гидронимов бассейна Оки делает возможным сплошное обследование этого важнейшего ареала с указанной точки зрения. Ниже излагаются некоторые результаты работы (остаются не отраженными данные, относящиеся к бассейну р. Москвы, поскольку они были изложены подробно ранее). Балтизмы в гидронимии Поочья несомненны, и при самом осторожном подходе к их числу можно отнести много десятков примеров. Особо следует отметить, что среди них немало и таких, которые известны в бассейне Днепра. Решающими аргументами в пользу наличия балтизмов следует считать названия, отражающие балт. лексему со значением 'река' и встречающиеся многократно, а также названия, отсылающие к этногенетическим реалиям (типа Голедянка, Голединыя; впрочем, некоторые из них позднего происхождения, ср. Литовка, Литвин, Литвиновка и т.п.). Существенны и некоторые словообразовательные форманты (-ея, -ейка, -ита, -ота и т.п.), значение которых, однако, не абсолютно. Тем не менее, балтийский колорит Поочья значительно бледнее, чем в Поднепровье. Балтизмы усвоены и переработаны славянской (а восточнее — и финноязычной) стихией более радикально, чем в ареале к западу от бассейна Оки. Несомненно, что историческая судьба Поочья была несколько иной, и это в известной степени наложило свою печать на специфику балт. элемента в этих местах. Вместе с тем остается, видимо, несомненным выдвинутое раньше мнение о том, что именно вдоль Оки распространялась с юго-зап. на сев.-вост. самая восточная из известных волн балтоязычного населения. Следы его обнаруживаются практически по всему течению Оки от верховьев до устья Москвы и даже несколько восточнее. Наибольшее стечение балтизмов обнаруживается, однако, не в верховьях Оки, а севернее (Протва и смежные территории; уже указывались переклички здешних балтизмов с гидронимией исторической Галиндии). Не менее поучительно, что балтизмы Верхней Оки непосредственно продолжают балт. ареал к востоку от среднего и верхнего течения Десны. И еще одно замечание, на этот раз методологического характера. Проблема выделения балтизмов в Поочье сопряжена с более значительными сложностями, чем в Поднепровье. Более того, два возможных пути обнаружения следов балт. гидронимии ("независимый", ориентирующийся лишь на сравнение окской гидронимии с балт. названиями Прибалтики, и "зависимый", с оглядкой на то, что определяется как бал-

тизмы применительно к верхнеднепровскому ареалу) приводят к двум несомненно различающимся между собой картинам. Несомненно, что первый путь открывает значительно более широкий пласт явлений, так сказать, "двойного подчинения", когда балтийское и славянское оказываются не отделены друг от друга и целый ряд фактов допускает двойную трактовку (и как балт., и как слав. — в зависимости от избранного временного горизонта). Как балтизмы окской гидронимии анализируются Упа, Упица, Упка, Упской, Уперта, Ужепа, Антуповка (?), Обля, Вобля, Воблинской, Обельна, Восьма, Осьма, Дриса, Дрисенка, Дрисела, Уса, Блиденка, Блиденской, Бледенка, Бледейка, Жиздра, Жиздрица, Жизна, Жизновка, Желенка, Висса, Сетунской, Руза, Серпея, Серпейка, Иночь, Иноча, Иночка, Ламенка, Вормишка, Клетенка, Нара, Можайка, Моженка, Колочь, Бестань, Бестенка, Бестинка, Дутна, Мерел, Чичера, Ошвин, Угра, Орлинка, Ресета, Ресетица, Волкона, Волконь, Хартынка, Черменка, Черменская, Чермянка, Ужеперт, Ужеперть, Ужетка, Вепра, Вепрея, Вепрейка, Вольша, Вольста, Волоста, Волостя, Вольтынка, Кледейка, Которянка, Мизгея, Мезгея, Кибень, Протва, Полея, Аполка, Синея, Полатка, Черепеть, Черепетка, Моршевка, Таруса, Серена, Серенейка, Тусна, Шерна, Лидия, Истра, Гордота, Польна, Пальна, Залазенка, Турейка и многие другие. Еще шире круг фактов, которые можно подозревать в балтийском происхождении, но для доказательства в этом случае требуются более сложные анализы. Особо стоит отметить, что к востоку от устья р.Москвы в Поозье (т.е. на старой финноязычной территории) не раз встречаются названия, которые, будучи встреченными западнее, квалифицируются как балтизмы (ср. Восьма, Осьма, Блиденка, Вобля, Скородня, Дрисела, Дутна, Вепрея, Серена и т.п.).

ЕЩЕ РАЗ О ВЕЛЕСЕ-ВОЛОСЕ В КОНТЕКСТЕ "ОСНОВНОГО" МИФА

В.Н.Топоров

1. Исследования мифологической природы Велеса-Волоса в последние 20 лет принесли решающие перемены, в результате чего совершенно неясное и изолированное божество превратилось в одного из центральных персонажей славянской мифологии, о котором теперь известно несравненно более, чем о любом другом божестве (данные о Перуне также многочисленны, но более концентрированы и поэтому менее разнообразны и не столь неожиданны). Говоря в общем, наиболее значительные достижения в этой области связаны с тремя темами: 1) и.-евр. родня Велеса (*Vels*, *Vielona*, *Velnias*, *Varuņa*, *Vrtra*, *Vala*, *Völundr*, *Wieland* и т.п.) и проблема реконструкции и.-евр. божества по имени **Vel-*; 2) Велес в сюжете основного мифа; 3) трансформация Велеса и связанной с ним сюжетной схемы. Впрочем, и вне этих тем вскрыто много существенных фактов, что сделало возможной достаточно конкретную реконструкцию т.наз. "велесова" пласта славянской мифологии и его предшественников в диахроническом ряду (балт./-слав./ и и.-евр. пласты). Возрастающее количество материала выдвигает задачу нового синтеза с учетом самых недавних идей.

В данном случае приходится ограничиться выдвижением некоторых связанных с Велесом тем, которые помогают наиболее эффективно соотнести и.-евр., балт(-слав.) и слав. этапы в развитии этого мифологического персонажа. Имея в виду дальнейшее, следует только заметить, что если раньше и.-евр. параллели к Велесу подыскивались исходя исключительно или в первую очередь из языковых сходств, то в настоящее время уже возможно с достаточной широтой и свободой обращаться к материалам других и.-евр. традиций в его содержательном аспекте с тем, чтобы подтвердить достоверность славянских реконструкций и интерпретаций, с одной стороны, и определять целесообразную перспективу поисков новых данных о Велесе в славянской традиции, с другой стороны.

2. Одной из важных проблем "велесовой" мифологии является определение женского персонажа, связанного с этим божеством. Результаты предыдущих исследований сводились к постулированию образца жены Громовержца (ср. Перынь, *Perkūnija*, *Fjörgyn*, *Fergunna*, *Virgunnia*, *Hercynia silva* и т.п. как материал для реконструкции имени), за обладание которой ведет борьбу Велес, и к отысканию соответствующих форм имени, которые, однако, не связывались непосредственно с женским персонажем круга Велеса (ср. Волосыни как название Плеяд; Елсиха при Елс, ёлс и т.п.). В качестве же реально засвидетельствованного женского персонажа в этом божественном "треугольнике" выступает Мокошь. В настоящее время можно, видимо, говорить и о женском персонаже по имени **Vel-*, который в реконструкции связан с Велесом. Речь идет о самовиле Вела, неоднократно выступающей в македонских народных песнях в сюжете, разрабатывающем один из мотивов основного мифа (о нем см. ниже), ср. "Марко шета во гора зелена", "Три дни шета Марко кралевики", "Убава мома Вела" и др., а также ряд текстов этого же круга, где самовила выступает с другим именем или вовсе безымянно. Существенно, что Вела в этих песнях не одинока: сюжетно она связана с Марко, продолжающим в преобразованном виде Громовержца основного мифа; вместе с тем она включена в семью, которая, очевидно, должна была носить имя от того же корня **Vel-* (ср.: Велините ду две снахи, | на Вела си удгуварят: | - Ој хубава злву Вело, | ју ти ли си мома била, | лу теб ли са брате дали, | брате дали, утлавили? ... | - Ој хубава злву Вело, | ...Ти си имаш ду два брата ...); еще интереснее, что в хорватской песне, записанной на о-ве Шипан (вблизи Дубровника) и являющейся фрагментом сюжета небесной свадьбы, девица спорит с Солнцем, утверждая, что она краше его и всей его семьи, включая его племянников Влашичей (персонифицированные Плеяды); принимая в расчет русские обозначения Плеяд Волосыни, Власожелиши и т.п. (при с.-хорв. влашићи), можно думать, что и спорящая девица, сопоставимая с макед. Велой, как-то была сюжетно связана с персонажами, составляющими Плеяды (ср., напр., сестры и семи братьев), и, главное, ее имя (< **Vela*) соотносимо с русск. Волосыни, получающим подтверждение и на мифологически-персонажном уровне. Таким образом, не приходится сомневаться в наличии женского участника сюжета основного мифа (или

отдельных его мотивов) по имени *Vela или *Velsyni / *Volsyni (<*Ve/ols-ūn). Последняя форма, по сути дела, включается в тот же ряд супружеским божественных пар, что и др.-инд. Varunāni (:Varuṇa), Indrāni (:Indra) и т.п., и примыкает к другим образованиям с элементом -n- (ср. Vielona и др.). Тем самым, кажется, можно реконструировать и для слав. пару *Velsъ (ср. лтш. Vels), *Velesъ и т.п.: *Velsyni, *Vela и т.д. Учитывая сходное оформление имен женского персонажа (*Vels-yni : *Per-yni), соотносимых с мужскими именами того же корня, уместно заключить – и это полностью отвечает логике основного мифа, – что *Vels-yni (как и *Vela) и *Per-yni обозначают один и тот же персонаж, но в разные периоды его сюжетной истории: в первом случае подчеркивается принадлежность носительницы имени с корнем *Vel(s) Велесу, во втором – Перуну. Естественно предположение, что существовало и независимое имя, которым могло быть *Мокошь (известны, разумеется, и некоторые окказиональные обозначения, иногда с богатой мифопоэтической семантикой, ср. Босильку дјевојки, которая говорит о себе: "Ја сам сунцу рођена сестрица, | А мјесецу првобратучеда" / "Сунчева сестра и цар"/).

3. Другая проблема – связь Велеса и его трансформаций с водой (в частности, и с морем, источниками, колодцами). Не повторяя уже известного, сославшись на новые разработки этой темы (Мачинский, Успенский, Велюс и др.), стоит лишь отметить мотив закрытия ("завязывания") вод в связи с персонажами велесова круга. В частности, этот мотив в наиболее классической форме связан именно с Велой, што собрала до девет кладенци, | собрала ги се на едно место, | затвори ги со железни врати, | турала е сребрени катанци! (в другом тексте говорится о 70 речках, 70 источниках и колодцах: затвори и Вела самовила...), или с другим женским персонажем того же типа (напр., с Видой-самовилой, спрятавшей 12 ручьев и заключившей их в сухое дерево с зеленой вершиной). Обладание Велы водой безблагодатно: плодоносящие потенции воды остаются нераскрытыми (ср. мотив страдания от жажды королевича Марко и др.), и целью положительного мифологического персонажа становится освобождение вод, динамизация их на благо растениям, животным, человеку. Именно этим мотивом (сопровождаемым мотивом убийства Велы) кончается сюжет о виле-водарице, обнаруживающий самую тесную связь с мифами о Вритре, Вале и других демонических существах, удерживающих воду, и несомненные переключки с водными мотивами, приурочиваемыми к другим персонажам-носителям имени того же корня (ср. Varuṇa или Velnias; интересно, что последний в некоторых текстах сам доставляет воду, орошает ниву дождем и т.д.; он же связан с т. наз. "сырными" деревьями (ольхой, елью и др.; с елью связан и Вел), см. выше о заключении воды в сухое дерево с зеленой вершиной). Несколько иной аспект темы воды раскрывается в тех случаях, когда Велес выступает как водяной, а вода является сферой его обитания. В этом смысле само божество может быть понято как персонификация воды, водного царства (ср. то же самое, но в кос-

мическом масштабе в связи с Варуной – мировым океаном, образующим близкую к хаосу периферию Вселенной). И еще одна параллель из этого же круга тем: Варуне в указанной функции соответствует Велес на море, известный по старочешскому проклятию-отсылке XV в., Никола (диахроническое продолжение Велеса) как "морской бог". В последнее время были приведены интересные соображения (Мачинский) в пользу дополнительной связи Велеса с морем: упоминание этого божества в клятве Олега объясняется тем, что договор с греками был заключен за морем, и возвращение с дружиной и добычей должно было происходить по морю (отсутствие Велеса в тексте договора Игоря с греками связывается с другими условиями). Скандинавские влияния, возможно, способствовали кристаллизации мифологического мотива Велеса на море (как и связи этого божества с кораблем; ср. соотнесение символических изображений на скандинавских кораблях с описаниями "Сокола-корабля" в русском фольклоре).

4. Данные о связи Велеса со смертью и загробным миром (в частности, через образ Николы), обнаруженные недавно, окончательно восстанавливают единство с аналогичной темой балтийской мифологической и ритуальной традиции, где она также кодируется корнем *vēl-. Мнимый разрыв оказывается навсегда устраненным тем более, что и другие и.-евр. традиции обнаруживают сходное положение вещей.

5. Представление о Велесе-Волосе как змее, драконе, реконструированное преимущественно или по внешним данным (др.-инд., отчасти балт. и др.), или на основании фактов мифопоэтической медицины (волос/ати/ как змееобразный червь и т.п.), теперь может быть подкреплено более сильными, собственно славянскими аргументами: ср. ту миниатюру Радзивилловской летописи, где изображается сцена клятвы Олега "Перуном, богом своим, и Волосом, скотным богом": Перуну соответствует антропоморфный идол, а Волосу – змея у ног Олега. Следовательно, и в этом отношении восстанавливается связь Велеса с змееобразными демонами типа Вртры или Валь. Другое свидетельство "змеиных" корней и связей – слова Велы в македонской песне: ...мајка ми је змеј љубила, | н'мен гу е прије дала; | кута мене ќе заведат, | к'ште мене да приведат, | прис Пирине, прис планине, | ќе изљази змеј гуренин, | тута мене ќе си грабни (инвертированный со сдвигом вариант см. в песне "Змија си Бога молеше" и т.п.). Можно напомнить, что и в литовском фольклоре *Velnias* нередко изображается и называется змеей, змеем, драконом и т.п. Недавно Велос высказал мысль о связи и даже о тождественности *Velnias'a* с *blukas'om* (собств., 'колода', 'бревно', 'толстая палка'), представляющим собой (во всяком случае во время ритуала) стилизованное изображение змея, аналогично Бадњаку. Функция Велеса как охранителя стад (ср. также связь *Velnias'a* со скотом) также предполагает в качестве одного из типологически вероятных вариантов его змеиный облик.

6. Некоторые славянские данные, как будто говорящие в пользу приурочения обрядов с участием Велеса к стыку Старого и Нового года (Рождеству и т.п.), подтверждаются теперь балт. и др.-инд. свидетельствами

ми, относящимися к персонажам, которые и мифологически, и лингвистически родственны Велесу. Более того, такое приурочение не может быть случайным: оно недвусмысленно указывает на ту особую роль, которую играли Велес и его соответствия в главном годовом ритуале; сценарием же этого ритуала, как показано в другом месте, был основной миф, роль в котором Велеса (и его антагониста) была выявлена еще раньше. Совпадение в этом пункте ряда независимых свидетельств само по себе весьма поучительно, а то, что это совпадение приурочено к ключевому моменту годового цикла, определяет особую важность сюжета о Велесе и связанного с ним ритуала. Возможно, что существуют и другие аргументы в пользу соотнесения Велеса с указанным временным рубежом (ср., например, зачин старой святочной колядной песни в виде *Vele, Vele*, о котором свидетельствует Матей из Градиште в 1436 г.; припев *Belī, Belī* в аналогичной коляде, описанной в Пражской рукописи Яна из Голешова на рубеже XIV–XV вв., явное искажение, связанное, в частности, с участием в соответствующей церемонии фигурки божка Бала; следует напомнить также, что припев этого типа известен и восточнославянской ритуально-песенной традиции). Вместе с тем следы образа и имени Велеса в колядной обрядности еще раз отсылают к теме мира мертвых, к уже отмечавшемуся мотиву загробного царства.

7. Связь Велеса с новогодним ритуалом подтверждает предположения о поэтической функции Велеса, высказанные главным образом на основании характеристики Бояна как Велесова внука и на основании этимологического тождества слав. **Vel-* и др.-ирл. *file* 'поэт' < 'треп', 'гада-тель' (продолжения праслав. **velĕti* еще и теперь иногда сохраняют значение, относящееся к отмеченному типу речевой деятельности, первоначально, может быть, именно поэтической). Уместно подчеркнуть, что ритуальные словесные состязания поэтов приурочивались именно к рубежу Старого и Нового года и, в частности, состояли из поединка, посвященного обмену загадками и их разгадыванию. Этот поединок в известном смысле воспроизводил прецедент – поединок противников в основном мифе, который, судя по ряду данных, продолжался и в словесной форме. В данной связи совершенно исключительное значение имеет редчайший диалогический гимн RV I, 42, представляющий собой т. наз. *vī-vās*, словесное прение, в котором участвуют громовержец Индра и его противник (в данном случае) Варуна (ср. *Velesz* и т. п.), т. е. главные персонажи основного мифа. Не менее интересно, что и в белорусской сказке (как и в некоторых литовских текстах) сохраняется подобный диалог между соответствующими персонажами схемы основного мифа (Я тебя убью! – Как же ты меня убьешь? Ведь я спрячусь! – Куда? – Под человека! – Я убью человека и тебя убью. – А я спрячусь под коня! – Тогда я и коня убью и тебя убью! – А я под корову спрячусь и т. п.). Характерно, что Варуна и вне этого диалога отчетливо связан с Речью, со словом, с поэтами. Кейпер убедительно продемонстрировал, что поединок Индры и Варуны послужил той основой, которая составила исходную схему древнеиндийской

драмы как антагонистической коллизии с участием pāuauka'i и vidūṣaka'i.

Бесспорной аналогией следует считать проанализированные в другом месте славянские обряды хождения "старого деда" с козой, с медведем (ср. гороховый медведь и особую связь Велеса и Velnias' с горохом, ср. путь гороховый), в которых также частично отражены некоторые мотивы основного мифа. При этом "старый дед" выступает как сниженный комический двойник Громовержца (Перуна), а его жертва или объект насмешек (или даже просто обладания) – как такой же двойник противника Громовержца (Велеса). Особенно показателен в этой роли медведь (ср. Воло-сатко : Волос), образ которого реализует мотив шерсти, шкуры, волос, косматости. Как будто вырисовывающийся как достоверный мотив Велеса на корабле в отдаленной перспективе, может быть, увязается с темой корабля как одной из примитивных форм сценической площадки и с мотивом божества, связанного с преддрамой, на корабле (ср. Диониса, если говорить лишь о самом знаменитом образе). Впрочем, идея поэтической функции Велеса возникает уже из его роли покровителя пастухов и охранителя стад (характерно, что даже по идее враждебный Velnias состязается с пастухами, дарит им дудочку, от игры которой люди и животные пускаются в пляс или же, наоборот, скотина собирается вокруг пастуха), ср. мотив "музыкальности" Пана.

8. Последняя из упоминаемых здесь в связи с Велесом тем – его трансформации, вариации, двойники (относительно последних ср. недавнюю попытку Шапиро увидеть за вариантами имени божества Велес и Велос "диоскурическую" пару; рациональное зерно в этой гипотезе, видимо, есть, хотя не исключены и другие интерпретации, ср. выше о паре мужского и женского персонажей с именем *vel-). Исследования в этой области только начаты и уже выявили целый ряд трансформированных персонажей, не всегда, впрочем, вполне надежных. Учитывая поэтическую функцию Велеса и его вероятное участие в новогодних ритуальных словесных поединках, в которых особую роль играет разгадывание загадок, стоит обратить внимание "велесоцентричность" многих персонажей велесова круга в звуковом отношении. Василий (от святого до новгородского "хулигана" Буслаева), Власий, Волх, Вольга Всеславич, Всеслав, Олег, Вавида (см. ниже), Елисава, Елѣсиха и т.д. так или иначе имитируют имя Велеса-Волоса, подлаживаются к нему, обыгрывают его. Эта анаграмматическая игра обратным образом бросает еще один луч света на поэтическую функцию этого персонажа. Исследование этих имен и, разумеется, внутренних характеристик "двойников" Велеса – одна из основных задач в этой области, где уже есть и первые удачные опыты (Плюханова). Другое направление исследований связано с анализом неких относительно простых схем, определяемых наборов миропоэтических персонажей. В этом отношении особенно перспективной может оказаться триада богатырей Илья Муромец (: Илья-пророк, Перун)– Добрыня Никитич (ср. его связь с водой, со Змеем, с женой Маринкой Игнатьевной; *Dobr-ŭn-ja : *dobr- : *debr- как обозначение низа, дна, пучины /:Почайна/ и т.д.) – Алеша

Попович (Олеся : Volos, ср. ёлс : Елсеха и т.п. – в контексте хитрости, любовной истории неудавшейся женитьбы и т.п.). И в сказочной триаде Горня – Дубня – Усыня (с вариантами) также целесообразно искать откликов образа "водяного" Велеса, о чем уже отчасти писалось. Первые результаты получены в попытке "просвечивания" образом Велеса-Волоса некоторых исторических персонажей (Олег, Всеслав), ср. идеи Н.Я.Седовой. Не исключено, что в отдельных случаях старая схема "втягивает" в себя, хотя бы частично усваивая себе, и совсем поздних исторических персонажей (см. ниже о Вавиле). Изучение подобных разрушающихся схем полезно в ряде отношений и прежде всего для обратной реконструкции конструктивных элементов исходной схемы.

МИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДКЛАДКА БЫЛИНЫ О ВАВИЛЕ И СКОМОРОХАХ

В.Н.Топоров

Эта единственная в своем роде былина (Григорьев I, ч.2, № 85), записанная в Шотогорке на Пинеге от М.Д.Кривополеновой, остается недостаточно исследованной и, как ни странно, практически даже не рассматривается в некоторых из недавних работ по скоморошеству (ср. книгу А.А.Белкина). Уникальность былины в том, что касается ее фиксации, в сочетании с нестандартностью и специфичностью содержания этой былины, состава ее персонажей (в их числе и главного – Вавилы), отчасти мотивов и поэтической формы (ср. хотя бы преимущественно пятистопный неуслезенный хорей с тяготением к рифмам, отличным от сопоставимых явлений в былинах; ср.: У песно́й вдовы́ да у Нени́лы | а у не́й было́ цядо́ Вавило́ ... или: При́шли лю́ди к не́й ве́селые, | Веселые люди́ не простые, | Не простые люди́, скоморохи́ или: Полетели́ куро́патки с ребамы́, | Полетели́ пестру́хи с цохаря́ми, | Полетели́ ма́рьухи с кося́нками и т.п.) сами по себе свидетельствуют о некотором исключении, о той аномалии, за которой может стоять многое и которая заслуживает более внимательного анализа текста в целом. Два обозначенные в заглавии аспекта былины составляют основное содержание этих отроков.

Мифологические истоки былины о Вавиле были совсем недавно вскрыты А.Ф.Белоусовым, убедительно показавшим, что ее сюжет представляет собой трансформацию одного из эпизодов "основного" индоевропейского мифа о поединке Громовержца с его противником Змеем, конкретнее – о младшем сыне, наказанном отцом и изгнанном им в подземное царство. Заключительное состязание–поединок Вавилы с царем Собакой квалифицируется как преобразованный мотив поединка с хозяином Нижнего мира (вод) за обладание скотом (при этом указывается, что Вавила дублирует отчасти Громовержца, а царь Собака воплощает одну из ипостасей противника Громовержца); особо подчеркивается мотив близнечной пары "первокузнецов" Кузьмы с Демьяном, чье "ремесло некогда соотносилось с технологией поэтического творчества (отсюда образ поэта-делателя, поэта-

кузнеца, выковыливающего свое "слово")", а также мотив магической "игры во гудоцик", вызывающей чуда. В связи с этим кругом вопросов можно предложить несколько уточнений и дополнений. Прежде всего следует отметить, что заключительная схема поединка (действия царя Собаки, вызванные его "игрой во гудоцик": Ишша стала вода да прибывати: | Ишша хоцё водою их потопити; действия, вызванные Вавилом: И пошли быки-те тут стадами | А стадами тут да табунами, | Ишша стали воду (так!) да упивати: | Ишша стала вода да убывати | ... Загорелось иныишнёе царь-сво | И сторело с краю и до краю) соотносит этот сюжет с классом космологических мифов о новом устройстве вселенной в результате победы над хтоническим деструктивным началом. В качестве параллели ср. Ригведа I, 32, но с двойной инверсией: поражение огнем предшествует мотиву приведения вод в движение и освобождение вод предшествует мотиву скота (при этом в отличие от бычины "развязывание" вод совершается Громоверхнем, а не его хтоническим противником, который, напротив, сковал воды). Второе, что обращает на себя внимание, – сам поединок Вавила с царем Собакой, данный как поэтическое состязание: играет "во гудоцик" не только Вавил, которого научили этому скоморохи и прежде всего Кузьма с Демьяном (Говорыло то цядо Вавило: | "Я веть песён петь да не умею, | Я в гудок играть да не горазён" | Говорыл Кузьма да со Демьяном: | "Заиграй, Вавило, во гудоцик | А во звоньцой во переладец; | А Кузьма з Демьяном приспособит". | Заиграл Вавило во гудоцик | А во звоньцой во переладец, | А Кузьма з Демьяном приспособил...), но и – несколько неожиданно – его противник: Заиграл да тут да царь Собака, | Заиграл Собака во гудоцик | А во звоньцой во переладец..., причем и эта игра была чудодейственной. Это поэтическое состязание в связи с космологическим контекстом оказывается, по сути дела, сродни ведийским ритуальным симпозиумам типа *sadhamaśāda* (RV X, 88, 17), во время которых стороны обмениваются поэтическими загадками (*vidātha*) на космологические темы, но особенно жанру словесного спора *vī-vāc*, представленного диалогическим гимном RV IV, 42, где описывается подобное состязание громовержца Индры и Варуны, реконструируемого как противник Индры (внутренняя форма *vī-vāc* может быть понята как "противо-говорить", "пере-говорить", и в таком случае с ней перекликается в бычине мотив "пере-", повторяемый неоднократно: Мы пошли на иныишнёе царь-сво | Переигрывать царя Собаку, | Ешша сына его да Перегуду, | Ешше зятя его да Пересвета, | Ешше дощя его да Перекрасу | ... "Пособи вам Бох переиграти | И того царя дам вам Собаку..."). Привязанность же мотива поэтического дара к хтоническому существу отвечает общей идее поэта как того, кто при жизни побывал в ином царстве, у смерти (ср. также глубинное соотнесение поэтического дара со сферой демонического). То, что обладание поэтическим даром приписывается персонажам, выступающим в качестве противника Громовержца, подтверждается многими примерами (ср. поэтическую функцию Велеса, чье имя еще раньше сопоставлялось с др.-ирл. *file* 'поэт', из и.-евр. **uel-*;

связь Варуны с речью и в конечном счете с истоками индийской драмы и т.п.; другой вариант носителя поэтической функции – Иван-дурак русских сказок, младший сын, своего рода "первочеловек"). Не менее важно, что имя такого мифологического поэта-певца передается корнем *uel-, который равным образом обозначает и искусных кузнецов (ср. др.-сканд. Völundr, Wēland и т.п.), с чем сопоставима и роль мифологических кузнецов Кузьмы и Демьяна, выступающих в былинах как поэтические наставники Вавилы. В рассматриваемом контексте общая идея генезиса поэта и поэтического настолько фундаментальна, что естественно возникает вопрос о связи с иным миром и самого Вавилы, подтверждаемая, видимо, и рядом других соображений. Нередко, однако, эти свидетельства даются в инвертированном виде и нуждаются в сопоставлении их с параллельными мотивами. Так, сочетание пахоты, производимой Вавилой (а уехал Вавилушко на ниву | Он веть нивушку свою орати, | Ишпа белую пшоницу засевати...), с встречей с ним Кузьмы и Демьяна очень близко напоминает известный микросюжет, восстанавливаемый, в частности, по украинским источникам, о том, как божественная пара кузнецов (иногда они носят те же имена Кузьмы и Демьяна) или один кузнец (Божий коваль) запрыгает в плут Змея, жаждущего напиться (:недостаток воды), и заставляет его вспахать Змиев вал, всю ниву вплоть до Черного моря и т.п. Эти кузнецы, "приспособляющие" в былинах Вавиле, в мифе помогают молодому герою (Вавила тоже молод, он – цядо, ср. яросл. вавило 'рослый, но неуклюжий, нескладный парень'. СРНГ 4,8) по имени Иван Сучич. То, что Иван трактуется как сын Собаки (Суки), делает весьма правдоподобным предположение, что и Вавила, близкий в ряде отношений Ивану Сучичу, мог быть сыном царя Собаки из той же былины (ср. известную связь кузнеца-змееборца с собакой в кельтской традиции, с одной стороны, и связь лит. Velnias'a с собакой, с другой), так сказать, *Вавилой Сучичем, который, как и младший сын "основного" мифа, разъединен с отцом (мать Вавилы Ненила – вдова). Однако и в этом случае приходится считаться с инверсией: отец оказывается в ином царстве, а сын вне его, на земле. На этой стадии уместно обратиться и к самому имени Вавилы, в других фольклорных текстах встречающемуся лишь случайно, в связи с ходами скоморошьего стиля в образцах поздней народной комедии (Пришел Вавила, | Поднял ерша на вила. Афанасьев № 79, в тексте, начинающемся с указания даты – 1729 г.; ср. также № 556: "Повесть о Ерше"; былинное Вавила – Ненила, очевидно, из того же самого репертуара скоморохов). В рассматриваемой былине имя Вавилы оправдано всем мифопоэтическим контекстом "основного" мифа, где антагонист Громовержца носит имя с корнем *Vol- / *Val- / *Vel-. Польск. wa-wel, wa-wel, рассмотренное в этой связи в другом месте, весьма близко к имени Вавила в звуковом плане. Поэтому последнее имя может пониматься как результат табуирования более старого наименования типа Волос-Велес или же как попытка звукового моделирования имени противника Громовержца. В обоих этих случаях имя отсылает к хтоническому персонажу. Хтонизм Вавилы, просвечивающий в его связи с "инишшим"

царством, где его, как и Кузьму с Демьяном, ждет свое место (У того царя да у Собаки! А окол двора да тын залезной, | А на каждой тут па на тыщныки | По целовецей-то сedit головки, | А на трех-то веть на тыщныках | Нет целовецих да тут головок; | Тут вашим да быть головкам), возможно, отражен еще в одном мотиве, восстанавливаемом; правда, по фольклорному источнику того же скоморошеского круга. Ср.: Приходит к нему [Вавиле] ...ангел. Голубь ... прилетел с ангелом... - Тесь Бог наградил, ты будешь, Вавило-скоморох, голубиный Бог. Ставроп. (СРНГ 6, 337). Надо полагать, что голубь появился здесь, как и в некоторых вариантах Голубиной Книги, единственно для того, чтобы семантически мотивировать странное название голубиногo Бoгa. Напрасливается предположение, что в основе лежало название Глубинного Бoгa (: Глубинная Книга, в другом месте толкуемое как своего рода калька с названий типа авест. *Bundahišn* 'Глуби сотворение'), т.е. божества Нижнего мира, возможно, аналогичного или даже тождественного Змею Глубин (др.-инд. *śhi Budhnyā*),

но - не исключено - просто некоему первозданному божеству, заложившему основу творения (ср. семантическую связь понятий основа - дно - бездна/глубь/, в ряде традиций передаваемых общим языковым элементом), ср. праотца Глубину (*Βύθος*) в космологической концепции гностика Валентина, повлиявшей, между прочим, на манихейство; будучи постигнутой, Глубина становится началом, основой всего (*Ἐρχή τῶν πάντων*); по аналогии Глубинная Книга может пониматься как книга о началах. *Глубинный Бог Вавило допускает разные толкования (в частности, как своего рода демиург, закладывающий основы творения), но почти при любом из них предполагается связь с Глубинной Книгой. Популярность этого сочинения в виде знаменитого духовного стиха удостоверяется большим числом его списков, тесными связями с целым рядом сокровенных сочинений, мифопоэтическими образами, восходящими к этому тексту. Более того, есть ценнейшее свидетельство о Св.Авраамии Смоленском (умер в 1221 г.), эсхатологическое учение которого, как и призывы к покаянию в ожидании Страшного суда, вызвало обвинение в его адрес: овии еретика нарицати, а инии глаголаху нань глубинныя книги почитаеть ... друзии же пророкомъ нарицающе. Вавило-скоморох, характеризующийся как *Глубинный Бог, и Вавила былины, направляющийся вместе со скоморохами к повелителю Глуби с тем, чтобы, победив его, заложить основы творения, вероятно, неразрывно связаны с образами и идеями Глубинной Книги, и игнорирование этой связи было бы серьезной ошибкой.

Но былина о Вавиле и скоморохах не может быть удовлетворительно понята при отказе от попыток выяснить, какие исторические реалии лежали в ее основе или, по меньшей мере, отразились в ней. Поэтому здесь уместно высказать ряд соображений по этому вопросу - от очевидных до гадательных, тем самым обозначив широкий круг возможностей, которые в дальнейшем должны стать предметом более углубленного анализа. Рассматриваемая былина не только посвящена скоморохам и имеет своей целью всесокупную оценку их как веселых людей не простых и даже не простых людей

те, светых, богоугодность их дела, но и исходит из среды скоморохов, являясь своего рода средством самозащиты и самооправдания (типологически та же ситуация отражена в известном французском фабльо о Богородице и жонглере). Об этом, между прочим, свидетельствуют внутренние данные, касающиеся самого мотива скоморохов в бытине и высокой оценки их помощи в борьбе со злом, а также поэтика бытины, пронизанная, видимо, одним из основных приемов искусства скоморохов – игрой инверсии, перевертывания ("переигрывания"), обнажения изнаночной стороны явлений, травестий, имеющей место в результате игры Вавилы "во гудошник". При описании травестированного состояния появляются черты некоей личности, преувеличенности, пародийности, грубоватого комизма, которые роднят бытину с разного рода небывальщинами и скоморошьими прибаутками, видимо, современными бытине, не говоря уж о более поздних формах народной комедии. Но есть, кажется, и внешние факты, делающие правдоподобным мнение о роли скоморохов в создании бытины о Вавиле. Уже первый издатель этой бытины отмечал, что именно в Шотгорке несколько крестьянских семейств носят фамилию Скомороховы и именно в Пинежском и Кулойско-Мезенском краях отмечено исключительное скопление (целых 11) скоморошних сюжетов. На этом основании делается правдоподобный вывод об особом влиянии в этом месте скоморошьей традиции, объясняемом концентрацией в этих изолированных краях преследуемых светской властью и церковью скоморохов. Естественно предположить, что подобная концентрация скоморохов на далекой северной окраине имела место после 1648 г., когда появляются царские указы против скоморохов, подробно перечисляющие их вины и грехи. Вероятно, как раз в это время и была предпринята попытка оправдать себя перед властями и начинающим колебаться общественным мнением. В середине XVII в. в центральной России скоморохи едва ли могли бы сложить подобную бытину; во всяком случае здесь у нее уже не было шансов выжить. В Пинежье в это время такая попытка удалась: бытина о Вавиле, где бы она ни была сложена, сохранилась именно здесь (Григорьев в рукописи XVII в. с Украины обнаружил оглавление, включавшее в себя название утраченного текста – слово ... о скоморошѣ вавили оупе). Следы времени в бытине о Вавиле несомненны, и совершенно не исключено, что царь Собака, т.е. неправославный царь, преследующий христиан в лице скоморохов (ср. другой стандартный образ такого правителя – Собака Калинин царь), мог вызывать в определенной среде в начале 2-ой половины XVII в. ассоциацию с историческими гонителями скоморохов – царем Алексеем Михайловичем или Никоном (можно напомнить, что уже в 1646 г. какой-то последователь "лесного старца" Капитона осмелился утверждать в Суздале, что царь Алексей не царь, а "рог", т.е. антихрист; ср. также несколько более позднюю нетовщину). В этом случае бытина о Вавиле – поэтический вызов гонителям преследуемой поэтической и духовной традиции, совпавший как с временным торжеством русской теократии ("Священство всюду пречестнейше есть царства", по Никону), так и с расцветом русского мессианства. Возможно,

что один из представителей последнего отразился в главном персонаже былины. Если учесть дуалистические элементы былины (Кузьма и Демьян, это царство — "инишьшое" царство, огонь — вода) и то, что финал былины нечто вроде описания Страшного суда и конца света, то, может быть, не покажется слишком смелым предположение о возможном отражении в главном персонаже былины такой очень яркой и хорошо известной личности, как "великий и премудрый" Вавила, один из наиболее радикальных последователей Капитона. О Вавиле известно, что он был рода иноземческа, вери люторскои, учился в Сорбонне (в славней парижстей академии), приехав при царе Михаиле Федоровиче в Россию, из бездревнего люторского вреднословия изшед, стал строгим монахом, с чертами некоторой экстравагантности, роднившей его с юродивыми. Современный исследователь ставит вопрос о возможной ответственности Вавилы за протестантский привкус Капитонова учения. Но в связи с данной темой, пожалуй, существеннее эсхатологические идеи Вавилы: ожидание Страшного суда и конца света, вера в наступление Царства небесного только после победы Антихриста и т.п. Не менее важны в учении Вавилы следы богомильского дуализма, возможно, вынесенные из опыта поздних филиппий богомильства во Франции. В 60-е годы XVII в. Вавила находится среди "лесных старцев", скрывавшихся около оз. Кшаро в вязниковских лесах. Неотвратимость зла заставляет искать выход в "самоубийственных смертях", и как раз Вавила был одним из тех, кто сформулировал такую возможность (Мы-де сей путь Лукиана мученика проходим). Во всяком случае он был и в самой сердцевине того круга, где зародилась идея очищения от грехов огненной смертью, вскоре воспринятая и проведенная в жизнь на севере России. Но Вавила опоздал: в апокалиптическом 1666 г. он был сожжен в срубе (печальная инверсия финального мотива былины — благодаря игре Вавилы "во гудоник" загорелось инишьшое царьство | И сгорело с краю и до краю и далее: Посадили тут Вавилушка на царьство). Остается напомнить, что источники называют этого мученика Вавило Молодой (цядо в былине) и что его не следует путать "с Васильем Уродивым, сиречь нашим языком с Вавилом", "странным братом нашим", о котором, в частности, царь Алексей Михайлович писал Никону. При всей гипотетичности связи былинного Вавилы с аскетом Вавилой все-таки трудно отрицать общие "манихейско"-эсхатологические идеи (хотя бы в виде следов), связываемые с этими персонажами. Во всяком случае нельзя недооценивать всплески и оживления тех идей и образов манихейского круга в переломное десятилетие XVII в., которые восстанавливаются и по другим источникам.

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В.Н.Топоров

Историческое развитие системы модальных форм в славянском глаголе остается во многих отношениях не выясненным. Более благоприятная картина наблюдается в двух случаях — 1) при наличии надежных параллелей

в других и.-евр. языках (ср. формы Imper., Opt., где соответствующие показатели уже связываются с модальным значением (и, как правило, именно тем, которое представлено и в слав.); 2) при наличии генетически тождественных показателей, которые, однако, в родственных и.-евр. языках имеют иные значения (причем остается неясным, каково было исходное значение данного форманта на ранне-евр. уровне). Почти полностью не изученным оказывается тот фрагмент системы модальных форм, который находится вне этих двух случаев. С точки зрения становления этой системы особенно важен анализ ситуаций, когда в слав. не представлены вообще или во всяком случае с очевидностью соответствия некоторым модальным балт. формам, характеризующимся как инновации, но построенные на основе достаточно архаичных элементов (ср. балт. формы наклонений с элементами *lai*, *te-*, *jā-* и т.п.). Однако не следует преувеличивать значения таких расхождений, в частности, и потому, что их хронология, как правило, не позволяет делать далекоидущих выводов о степени единства самих языковых идиом, фиксирующих различия указанного типа. Как показали недавние исследования, соответствия (и при этом очень точные) институционализированным формам балт. наклонений в слав. сплошь и рядом локализируются не на морфологическом, а на синтаксическом уровне. Из этого вывода следует принципиально важная возможность трактовать и балт. формы наклонений (морфологические) как результат перестройки тех же синтаксических схем, которые представлены в более архаичном виде в слав. языках (ср. слав. конструкции с участием частицы *li* при балт. формах наклонения с участием *lai*); в других случаях модальное (или близкое ему) значение передается аналогичными синтаксическими схемами и в слав., и в балт. (ср. конструкции с *rad-* & *Vb.*), но институционализированная она оказывается только в балт. (или даже в части балт. языков). Наконец, внимание должно быть уделено и таким эвентуальным построениям с модальными оттенками, которые со сравнительно-исторической точки зрения имеют лишь частное значение, но важны как примеры, наглядно демонстрирующие, как скрытые потенции модальности находят путь к их воплощению. В этих случаях генетическое и типологическое оказываются предельно обличенными и далеко не всегда различимыми.

Ниже уделяется внимание одному такому примеру на материале русских народных говоров (впрочем, отдельные параллели могли бы быть приведены и из других слав. языков, что, однако, в данном месте не является необходимым). Речь идет о ряде употреблений глагола мочь, которые едва ли могут быть признаны стандартными (или даже просто распространенными) для литературного языка, хотя, строго говоря, никаких специальных запретов или рекомендаций в отношении их обычно не формулируется. Одно из первых впечатлений языковой "чуждости", остротности, которое возникло у автора этих строк, оказавшегося во время войны в эвакуации в г.Коврове (Ивановск., позже - Владимирск. обл.), было связано именно с непривычными употреблениями глагола мочь. И в самом

городе от лиц, которые в основном придерживались норм литературного языка, и в окрестных деревнях (Шосково, Погорелки, Игумново, Б.Все-годичи и др.) от носителей диалектной речи, помимо "обычных" употреблений глагола мочь, приходилось часто слышать две конструкции, которые воспринимались как "неправильность" или, по меньшей мере, как некий локальный идиоматизм (в дальнейшем подобные примеры попадались нередко и в диалектных текстах из других мест, о чем достаточно хорошо известно).

Первая из этих конструкций связана с императивным значением, ср.: Не могли этого делать!; не могли и думать об этом!; не могли надевать мои чесанки! и т.п. (поскольку речь идет о фактах сорокалетней давности, не приходится настаивать на подлинности конкретных примеров, однако бесспорным остается сам тип конструкции) – вместо Не делай этого!; даже и не думай...; не надевай...! Результатом полемики по вопросу о корректности употребляемых конструкций были объяснения двоякого типа: в одних случаях употребление Не могли этого делать! и т.п. объявлялось более подходящим, поскольку Не делай этого! квалифицировалось как недостаточно вежливая манера, которой лучше избегать не в крайних ситуациях; в других случаях сообщалось, что обе эти конструкции совсем различны, причем смысл этих различий не объяснялся сколько-нибудь удовлетворительно. Первое объяснение представлялось по меньшей мере странным, поскольку именно конструкция типа Не могли этого делать! ощущалась как более категоричная: запрет, формулируемый в ней, касается не только и не столько основного действия (не делай!), сколько самой возможности, мыслимости, желательности такого действия, иначе говоря, самих интенций, которые могли бы привести к решению осуществить действие. Возможно, однако, что оба эти по видимости противоречивые объяснения не исключают друг друга и даже на некоем уровне могут быть сведены воедино. В случае Не могли этого делать! речь идет, кажется, не о запрете (отрицательном приказе), а как бы о просьбе-пожелании (хорошо бы...) не приближаться к той сфере, которая чревата возможностью совершения нежелательного действия. Некоторой аналогией этому типу в литературном языке были бы конструкции вроде Ты и не думай (даже и не думай) этого делать или Даже и не говори, чтобы это сделать, где думать, говорить как элементы триадической схемы мысль → слово → дело так же, как и Не могли...!, фиксируют некую более раннюю стадию (просьба-пожелание, но не запрет) и при этом акцентируют скорее потенциальное (ментальное), чем проявляющееся в реальном действии. Очень вероятно, что различные интерпретации типа Не могли этого делать! по признаку категоричность-некатегоричность (вежливость) могут быть объяснены и разными представлениями о том, что "вежливее" – запрет некоего действия (последний шанс вмешаться в ситуацию, предотвратить ее) или возможности его совершения (предварительный этап). Во всяком случае существуют две модели этикетной "деликатности", проявляющиеся во многих фактах и нередко приводящие к недоразумениям при ус-

ловии их неразличения. Согласно одной модели, "деликатнее" предупреждать заранее, когда предупреждаемый еще имеет возможность выбора следующего шага без того, чтобы произошла своего рода катастрофа, когда есть еще некий запас перед чертой, за которой возникает конфликтная ситуация; по той же модели "неделикатно" конкретное требование в условиях, когда уже нет выбора и даже простая просьба, по сути дела, становится категорическим императивом. Согласно другой модели, "деликатнее" предупреждать только в крайних условиях, когда уже нет выбора и обстановка автоматически требует вмешательства (собственно, сами обстоятельства как бы нейтрализуют противопоставление "деликатности" – "неделикатности"), и, напротив, "неделикатно" предварительное предложение (излишняя спешка, чрезмерная предусмотрительность), относящееся к тому же не к самому действию как неотменяемой реальности, а к возможности его (т.е. к мысли, намерению, желанию и другим достаточно интимным движениям души).

Вторая конструкция с мочь нестандартного типа также оперирует как бы "императивными" формами этого глагола. Но в ней моги употребляется без отрицания и придает целому условное (и близкие ему – допустительное, уступительное и т.п.) значение. Ср.: Моги он это сделать, все бы кончилось хорошо; мог он знать это, он поступил бы иначе и т.п. при более обычных Сделай он это...; знай он это... Указанные примеры нестандартной конструкции при известном различии, конечно, не могут быть отделены от хорошо известного стандартного типа в немецком вроде Ma g er sich ärgern, ich bleibe hier! или M ö g e kommen, was da will, M ö g e es geschehen или M ö g e er eintreten! и т.п. – при том, что нем. mögen и слав. мочь (мог-) связаны и генетически. Эти немецкие примеры, составляющие лишь часть широко разветвленной и стандартизированной системы, способной передавать и уступительность, допущение, условность, и предостережение, и даже угрозу, и наконец, разные аспекты вежливости (желание, просьба, позволение и т.п.), по сути дела, воспроизводят in extenso ту систему, из которой могли бы быть объяснены и приведенные выше русские примеры. Наличие у нем. mögen значений 'хотеть', 'желать' и вместе с тем 'мочь' бросает луч света на семантический элемент, отсылающий к идее "желания", и в русск. мочь (ср.: Моги он это сделать... при Захоти он это сделать...). В этом отношении характерны такие построения, как, напр.: "... так измучился, что и не знаю, буду ли в состоянии и встать завтра" – "Ну, что ж? – сказал мне на сие г. Балабин: – завтра хоть и отдохни и сюда хотя и не ездь" (А.Т.Болотов, нередко пользовавшийся подобной конструкцией). Вместе с тем другие аналогии обнаруживаются при обращении к некоторым иным показателям модальности (ср., напр., употребление li при глаголах в условных конструкциях и li, иногда с отрицанием ne при Imper. как в кашубском; еще очевиднее эти типы представлены в балт. в связи с lai). Наконец, можно заключить сказанное ссылкой на пример, свидетельствующий, что непонимание на латв. моче было взаимным. Когда на вопрос типа Как пройти туда-то?

или Который час? давался ответ типа (Простите) Не могу сказать, он вызывал неодобрительную реакцию вплоть до обиды, поскольку в Не могу слышалось Не хочу, а не Не знаю, не умею и т.п. Потенциальная модальность слав. мочь, которое в некоторых ситуациях обретает статус почти грамматического показателя желательного наклонения, к сожалению, остается недостаточно вскрытой, а еще чаще и вовсе игнорируется.

К ДРВНЕПРУССКОЙ ТОПОНИМИКЕ ПОМЕЗАНИИ

Ф.Хинце (Берлин)

В основе доклада лежит критический обзор книги Х.Гурновича "Toponimia Powiśla Gdańskiego". Я опираюсь на его материал.

1. В документах до 1250 г. нам встречается больше древнепрусских, чем польских топонимов, а именно, 15 древнепрусских (*Kvedīns, *Lingvars, *Nerdingis, *Paganstai, *Pasulōwo, *Rezijā, *Sādeluks, *Stumis, Barute /Barutin, Czarczemidicz, Midicz, Pastoline / Pasteline / Postelin, Santir, Sypenin и Wadekaym) при пяти польских (Mirowicy, Przesław?, Rutiz?, Strzeszewicy?, Wadekowicz). Некоторые гидронимы этого времени имеют "древнеевропейское", восходящее к предшествующему языковому состоянию, происхождение.

2. До 1300 г. включительно (сюда причисляются и названия, упомянутые в п.1) преобладают древнепрусские топонимы и гидронимы, общим числом около 78 при 26 польских. — Многие гидронимы этого времени имеют древнеевропейское происхождение.

3. И в 1301–1400 гг. древнепрусские топонимы и гидронимы значительно преобладают над польскими. Здесь насчитывается всего лишь около 25 польских топонимов и гидронимов вместе взятых, в то время как прусских — около 109. Точное число (вместе с подсчетами приблизительно до 1525 г.) я смогу представить только тогда, когда будет закончена работа над данным докладом.

Эти факты, разумеется, достаточно обоснованные и документированные, противоречат тезису Гурновича о том, что поляки были коренным населением Помезании до балтов.

ИЗ БАЛТО-БАЛКАНСКОГО МИФОЛОГИЧЕСКОГО ГЕРБАРИЯ: РУТА, МИТА

Т.В.Цивьян (Москва)

1. Среди многообразных функций растений в архетипической модели мира есть сакральные по преимуществу (магия), известные лишь узкому кругу посвященных. В этом отношении анализ мифологии растений по сути дела — реконструкция скрытого, глубинного уровня, выступающего на поверхность как более или менее "секуляризованная" символика. Поиск оснований, или ДП, по которым растение включается в мифологический гербарий, предполагает рассмотрение различных кодов; едва ли не главный среди них — химический. Химический код имеет в виду использование растений

в медицине, кулинарии, парфюмерии и т.д. как на бытовом, так и на сакральном уровне (магическая практика). В рамках этого кода выделяется такой существенный ДП растений, как запах. Запах, изначально лишь указатель на наличие особых веществ, определяющих место растения в модели мира, включаясь в нее, как бы абсолютизируется, превращается из атрибута в субъект, в самостоятельное орудие воздействия растения на окружающий мир. Вместе с тем код запахов (одористический) представляет собой эффективное средство шифровки: для посвященных указание на него – отсылка к сфере сакрального; для непосвященных – орнаментика, несложная символика в кругу поля хороший/плохой, приятный/неприятный.

2. Цель предпринимаемой автором работы – установление мифологии растений, зафиксированных в не-мифологических жанрах фольклора (лирических, прежде всего любовных песнях, – поскольку речь идет о цветах и специальном внимании к одористическому коду). Выбор материала определяется рядом общих соображений. Исходя из сказанного выше, предполагается, что не-мифологические жанры в каком-то смысле – наиболее надежное место для хранения сакральной информации, сформулированной словесно: здесь можно называть вещи своими именами, указывая такие мифологические ДП цветка, как запах, цвет, время и место цветения и т.п., и при этом сохранять герметичность растительного кода, относя эту информацию к чистой лирике или поэтической стилистике. Наложение полученных данных на собственно мифологию (этиологические легенды, обряды, магические действия и т.п.) показывает, что типичные флористические клише (любовь, влюбленные – прекрасные цветы, обладающие особым ароматом), перешедшие в высокую (и низкую) поэзию, в салонно-мещанский язык цветов, в игры "в садовника" и т.п., имеют глубокий мифологический смысл и могут быть приведены, с одной стороны, к самостоятельным сюжетам и мотивам, с другой – к набору универсальных семиотических оппозиций, формирующих модель мира.

3. Географические, климатические, исторические, этнокультурные и др. различия балтийского и балканского ареалов, казалось бы, должны противопоставить их по мифологическому гербарию, в частности по набору цветов, по их ДП, прежде всего запаху. Это действительно так: для балтийского ареала фиксируется меньшее разнообразие цветов (по крайней мере в рассматриваемых жанрах); упоминание запаха чрезвычайно редко. На балканском ареале (хотя по-разному в разных традициях) цветов больше, что же касается ДП запаха, то он настолько существен, что выливается в особый мотив ("суд цветов", "спор цветов" и др.). В этой ситуации тем более примечательно, что за пределами более или менее универсальных и потому не столь показательных сходжений (роза, лилия и под.) выделяется достаточно нетривиальная балто-балканская параллель: рута, мята. Нетривиальна эта параллель прежде всего по разному распределению руты и мяты в балканском и балто-славянском (литовская, польская, белорусская традиция) мифологическом гербарии. В балто-славянском рута и мята (в ряде случаев с добавлением – роза, лилия и нек. др.) – ос-

новное флористическое клише. В балканском они, как правило, входят в несколько иные контексты, а соответствующие флористические клише — базилик и роза (гвоздика, сирень, глицин и нек. др. как добавление). Более того, по некоторым основаниям (особый запах, ядовитость, аллергическое воздействие на кожу) рута как бы диссонирует с принятым "лирическим эталоном". Определенная амбивалентность в этом же плане есть и у мяты (ср. ее древнегреческую историю). Интерпретация руты и мяты в рамках модели мира возможна, как представляется, при обращении к их мифологической (а для руты определено и ботанической) родине: к Средиземноморью, к Балканам. Изменения, происшедшие в мифологическом досье руты и мяты на их пути с Балкан в Балтию, равно как и сохранение общего семантического фонда, набора ДП и т.д. будет являться основной темой настоящего доклада.

БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ЛИНГВОЭТНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО АРЕАЛА

В.Чежмонас (Вильнюс)

1. Центральная зона восточнославянского языкового ареала (выделенная Г.А.Хабургаевым) образована а) изоглоссами явлений, возникших в этой зоне и распространявшихся из нее во всех направлениях (аканье-яканье, раннее совпадение *ѣ с е); б) изоглоссами явлений, которые известны на соседних территориях, но которые именно в центральной зоне реализованы наиболее последовательно и из нее распространялись на соседние территории ("белорусская" протеза типа вѣкны — акно́, краепалатальные с, з и цеканье-дзеканье); в) изоглоссами явлений, которые возникли в данной зоне, но не распространялись за ее пределы (типа иала/-эй/, зл/-эй/). Кроме того, как показал Г.А.Хабургаев, во всей центральной зоне или на ее окраинах известны явления, распространявшиеся как с юга (например, г-фрикативное), так и с севера (например, цоканье, -мт- из -бм-, -нн- из -дн-). Очевидно, перечисленные явления распространялись в разные эпохи и в разных социолингвистических ситуациях. Допускается, что по крайней мере часть из них должна была распространиться из центральной зоны достаточно рано, поскольку после XIV в. авторитетные культурные, экономические и политические центры, которые могли способствовать экспансии языковых явлений, сложились к западу и к востоку от центральной зоны.

2. Сама центральная зона имеет довольно четкую лингвогеографическую структуру. Центр ее находится, видимо, в междуречье Верхнего Днепра и Западной Двины; определить его помогает, в первую очередь, анализ лингвогеографической структуры ареала восточнославянского аканья.

3. Обращает на себя внимание то, что междуречью Верхнего Днепра и Западной Двины отводится важное значение в этногенетических процессах, реконструируемых по данным гидронимии и археологии. Именно здесь отмечено наибольшее скопление гидронимов балтийского происхождения (В.В.Се-

дов), откуда в послезарубинное время распространялись культурные инновации (А.Г.Митрофанов). Не исключено, что племенные границы ранних древнерусских племен отражают особенности этнического членения этой территории до прихода славян.

4. В докладе обосновывается мысль о том, что первоначальное распространение аканья, возникшего, видимо, в зоне Верхнего Днепра и Западной Двины после IX в., было обусловлено сохранением традиционных этно-культурных и коммуникативных связей, существовавших на территориях современной Белоруссии и запада Центральной России до прихода славян.

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ОСНОВЫ ПРИ НОМИНАЦИИ В БАЛТИЙСКИХ И ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

С.М.Лковлев (Минск)

Близость языков на уровне основ слова можно проследить на двух ступенях: 1) близость словарного состава в начальных (исходных) формах; 2) близость слово- и формообразования к исходному лексическому тождеству. Общие элементы русского и литовского языков находим преимущественно на первой ступени. Белорусский и литовский языки проявляют общность как на первой, так и на второй ступенях.

Показателен в этом отношении анализ некоторых пар этимологически родственных слов белорусского литературного языка, которые достаточно далеко разошлись в своей семантике, сравнительно с соответствующими парами слов русского языка. В качестве эталона используем литовский язык. Независимость белорусской и русской моделей является исходной посылкой, которая указывает на возможность различного выбора основы при номинации даже в близкородственных языках. Приведем несколько примеров: писать-неграмотный - писаць-непісьменны - rašyti - bergėtis, дробить-мелкий - драбіць-дробны - smulkinti - smulkus, волочить-бродяга - валачыць-валацуга - válkioti - valkūnas; веси-колебаться - вага-вагацца - svaĩrai - svirti; голос-вслух - голос-уголас - bal̃sas - balsũ; учинять-закрывать - учыняць-зачыняць - daryti - uždaryti; запрещать-защипать - забара-няць-бараніць - užginti - ginti; зеркало-отражать - люстэрка-адлюстравыць - atšvaitas - atšviesti; рука-удобный - рука-зручны - ranka - rankus; рыть-лопата - рыць-рыццёўка - kasti - kastuvus; наверное-определенный - напэўна-пэўны - tikraĩ - tam tikras; попалать-точно - трап-ляць-трапна - tikti - tikraĩ; мочь-победа - магчы-перамога - galėti - argalėjimas; язык-оратор - мова-прамоўна - kalbà - kalbėtojas; падать-осадки - падаць-ападзі - kristi - krituliaĩ; стрелять-ружьё - стрэляць-стрэльба - šauti - šautuvus; гореть-вогня - гарэць-гарэшка - degti - degtinė; отец-родители - бацька-бацькі - tėvas - tėvai; шкура-снимать - ліцька-лічыць - skaidžius - skaidžiūti; пляска-протыгать - скомі-скачыць - šokis - šokti; sokti; состав-сложный - смак-смакаць - sudėtis - sudėtinis; дарить-прощать - дарыць-дараваць - ardovanoti - dovanoti; смочь-способность -

элолель-этольнась - galėti-galià и другие примеры.

На данных примерах видно тождество моделей номинации в белорусском и литовском языках, где слова в парах являются родственными. Допускать возможность калькирования, исходя из характера слов, нам кажется неправомерным. Более широкий анализ данных пар слов с привлечением украинского, польского, чешского, болгарского, латышского, немецкого, итальянского и эстонского (здесь нами рассмотрены 23 пары слов) выявил следующие уровни соответствия белорусско-литовской модели номинации: укр. - 78,3%; польск. - 47,8; латыш. - 43%; эстон. - 26%; чешск. - 17,4%; итал. - 17,4%, болг. - 13%; нем. - 13%. Как видим, наибольшее число соответствий приходится на украинский язык. Именно литовский, белорусский и украинский языки очень близки при выборе основ для номинации семантически соотносимых понятий. Кроме этого, можно отметить высокий процент соответствий в польском и латышском языках.

Для выявления причин тождественного выбора основ в указанных языках следует учитывать такие факторы, как влияние субстрата, общность исторических судеб, общие этапы языкового развития, географическая близость, характер межъязыковых контактов и др.

ИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ "ХРОНИКИ ЗЕМЛИ ПРУССКОЙ" ДУСБУРГА

Р.К. Батура (Вильнюс)

Хроника Дусбурга, основная часть которой описывает войну Тевтонского ордена против пруссов и Литвы, является ценным источником для истории балтийских и славянопольских земель XIII- первой трети XIV вв.

В докладе рассматриваются следующие вопросы.

1. Связь успешной борьбы Литовского государства против Тевтонского ордена с возникновением Хроники и ее тенденцией затушевать роль Литвы в освободительной борьбе балтов. Развитие Литвы в общеполтийском направлении с начала XIII в.
2. Тенденция Хроники и интерпретация древнепрусского Кирсберга (1239), Кирсбурга; освещение этого вопроса в новейших работах.
3. О балтизмах Кульмской земли (Culmense (1248), Colmense и др.).
4. Проблема аукштайтов (отделение их от собств. литовцев не подтверждается письменными источниками).
5. Гомове Дусбурга: локализация в зап. Надравии (у р. Ауксине); общие элементы языческого культа Надравии, Земайтии и в Вильнюсе.

СОДЕРЖАНИЕ

Л.Б а л о д е (Рига). Лимнимы славянского происхождения на территории Латвийской ССР	3
А.Б.Б р е й д а к (Даугавпилс). Развитие фонематической системы гласных глубоких говоров Латгалии	4
О.Б у ш (Рига). К изучению куршской гидронимии в свете балто-славянских языковых отношений	5
Ж.Ж.В а р б о т (Москва). Об одной фонетической аномалии в славянских языках	6
Н.В е л ю с (Вильнюс). К реконструкции культуры древних балтов (о новом подходе к описанию традиционной культуры) ...	7
В.Р.В я ч о р к а (Минск). Некоторые ареальные особенности фонетического оформления белорусских балтизмов	8
М.Г а с ю к (Познань). Славянские заимствования в литовском говоре окрестностей г.Сеёны	10
Л.Г.Г е р ц е н б е р г (Ленинград). К этимологии лтш. kumeļš. ...	10
А.Г и р д е н и с (Зильнюс). К вопросу о генезисе и эволюции восточнобалтийского (и славянского) инфинитива	11
И.Г р е к - П а б и с о в а (Варшава). К вопросу о польском и балтийском влиянии на островные говоры псковского типа	12
Р.Я.Д е н и с о в а (Рига). Проблема балтского этногенеза в свете новых антропологических данных	13
И.Д у л е в и ч е в а (Варшава). Категория вокатива (из балтийско-славянских параллелей)	15
И.Д у р и д а н о в (София). Проблема индоевропейских гуттуральных согласных в связи с этимологией славянских и балтийских слов	15
В.А.Д ы б о (Москва). Еще к вопросу о балтославянско-германских акцентологических соответствиях	16
Ф.Е л о е в а (Ленинград). Балкано-балтославянские контакты в области географической терминологии	18
З.П.З и н к я в и ч ю с (Вильнюс). Польско-явяжский словарь?..	19
Вяч.Вс.И в а н о в (Москва) О некоторых архаизмах прусского суффиксального образования	20
Вяч.Вс.И в а н о в (Москва). Прус. Bardoyts, bordus и проблема названий 'борода' в индоевропейском	21

С.К а р а л ю н а с (Вильнюс). К происхождению окончания З л. настоящего времени глаголов с основой на <i>-i/ē-</i> в балтийских языках	23
Б.П.К е р б е л и т е (Вильнюс). К вопросу о заимствовании сказочных сюжетов	24
Ф.Д.К л и м ч у к (Минск). К вопросу об утверждении славянского лингвистического элемента на территории нынешней Белоруссии	25
С.Ф.К о л ь б у ш е в с к и й (Познань). <i>Polonica</i> в латвийских народных песнях (<i>Tdz</i>). (К 150-летию К.Барона)	27
М.К о н д р а т ю к (Варшава). О литовском влиянии на сла- вянскую топонимию и антропонию Подлясья в XV-XVII вв.	28
Ю.Л а у ч ю т е (Ленинград). <u>Перуны</u> , <u>Велес</u> и балто- славянская проблематика	30
М.М.Л е к о м ц е в а (Москва). К интерпретации некоторых возможных балтизмов в Подмоскovie	30
В.В.М а р т ы н о в (Минск). Западнобалтийский субстрат праславянского языка	32
В.И.М а т у з о в а (Москва). "Хроника земли прусской" Петра из Дусбурга в культурно-историческом контексте	34
Ю.Ф.М а ц к е в и ч, Е.М.Р о м а н о в и ч, Е.М.Ч е б е р у к (Минск), Е.И.Г р и н а в е ц к е н е (Вильнюс). Лингвогеографические данные белорусских народных говоров о балто-славянских языковых контактах	35
Л.Г.Н е в с к а я (Москва). Представления о <u>пестроте</u> в языке и фольклоре	35
А.П.Н е п о к у п н ы й (Киев). К структуре и славянским связям ятвяжской ойконимии	38
В.П.Н е р о з н а к (Москва). Палеобалкано-балто- славянские языковые интерреляции	39
С.Л.Н и к о л а е в (Москва). Один из типов названий хищных млекопитающих в севернокавказских и индоевропейских языках	41
Е.О х м а н ь с к и й (Познань). " <i>Descriptio terrarum</i> " - новооткрытый источник по истории балтов начала второй половины XIII в.	42
А.Р о с и н а с (Вильнюс). К вопросу о некоторых закономерностях модификации парадигм имени и местоимения в балтийских языках	43
А.Б.С т р а х о в (Москва). К балто-славянским семасиологическим параллелям (названия радуги)	44
Т.М.С у д н и к (Москва). К исторической антропонию литовско-славянского пограничья (на материале инвентарей XIII в.)	45
Н.И.Т о л с т о й (Москва). Три обряда: литовск. <i>Kalādė</i> , украинск. <u>Колодій</u> , сербск. <u>Бадњак</u>	46

В.Н.Т о п о р о в (Москва). О балтийских следах в гидронимии Поочья	49
В.Н.Т о п о р о в. Еще раз о Велесе-Волосе в контексте "основного" мифа	50
В.Н.Т о п о р о в. Мифологические истоки и историческая подкладка былин о Завиле и скоморохах	56
В.Н.Т о п о р о в. Об одном способе выражения модальности в русском языке	61
Ф.Х.И н ц е (Берлин). К древнепрусской топонимике Помезании...	65
Т.В.Ц и в ъ я н (Москва). Из балто-балканского мифологического гербария: <u>рута</u> , <u>млта</u>	66
В.Ч е к м о н а с (Вильнюс). Балто-славянские лингвоэтнические контакты и формирование центральной зоны восточнославянского ареала	67
С.М.Я к о в л е в (Минск). К вопросу выбора основы при номинации в балтийских и восточнославянских языках	68
Р.А.Б а т у р а (Вильнюс). Из проблематики "Хроники земли прусской" Дусбурга.....	69

Издание осуществлено с оригинала, подготовленного к печати
Институтом славяноведения и балканистики АН СССР

БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ И АРЕАЛЬНОМ ПЛАНЕ (Тезисы второй балто-славянской конференции)

Утверждено к печати Институтом славяноведения и балканистики АН СССР

Редактор издательства Г.Н. Корозо

Подписано к печати 28.10.83. Формат 60 x 90 1/16. Бумага офсетная № 1

Печать офсетная. Усл.печл. 4,5. Усл.кр.-отт. 4,6. Уч.-изд.л. 5,1

Тираж 400 экз. Тип. зак. 802. Бесплатно. Заказное

Издательство "Наука", 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., д. 90

Офсетное производство 3-й типографии издательства "Наука",

Москва, К-45, ул. Жданова, д. 12/1.

31983RU

БЕСПЛАТНО